№1(11) литературный журнал 02|25

НАТЕ

серии

18+
содержит нецензурную брань

№1(11) литературный журнал 02|25

НАТЕ

серии

18+
содержит нецензурную брань

Главный редактор: Мария Тухто
Редакционная коллегия:
Юлия Афонина
Ирина Бондырева
Ада Насуева
Александра Суслова

Дизайн обложки:
Светлана Подаруева
Верстка: Мария Тухто

Контакты:
Прием рукописей: nate.lit@mail.ru
Сотрудничество: nate.lit.collab@mail.ru
Сайт: https://natelit.ru/
Мы в социальных сетях:
https://t.me/NATE_lit
Boosty: https://boosty.to/glavvred
Поддержать проект: https://pay.cloudtips.ru/p/39896291

Рукописи не рецензируются.
Мнения автора и редакции могут не совпадать.
При перепечатке текста ссылка на журнал обязательна.

Оглавление

Рита ШИЛКИНА: Всадники 6
Дамир ХАНИФУЛЛИН: Барак 28
Федор ИЛЬИН: На грани двух столетий 47
Евгений БАРАНОВСКИЙ: Терпилы 92
Женя СКОБИНА: Нострадамус 2.0 115

Рита ШИЛКИНА

Родилась в 2003 в городе Абакане, с 2021 студентка Литературного Института им. А.М. Горького по направлению «проза» (мастерская Р.Т. Киреева), участница мастерских АСПИР («Мир литературы. Новое поколение», межрегиональные мастерские в Екатеринбурге и Новосибирске) и форума молодых писателей «Липки», полуфиналист премии «Лицей».

Фото: Елена Зыкова

ВСАДНИКИ

I–II

III

IV

Земля пачкала носки туфель, он вытирал их о траву. Бабушка качала головой: «ну тропинки для кого? Для кого тропинки? Что ты по грязи?», а в этой грязи — бунт! Есть тропинки, но тропинки для всех, а ты — не все, тем более что по грязи быстрее! За свою непохожесть он потом платил: сидел в коридоре, перед красным ведром и оттирал подошвы, выковыривал из резиновых линий камушки. Руки пахли, как лопата, которой бабушка выкапывала картошку, ему нравился этот запах, но не само мытьё — мало ли что в земле лежит, не одни же клады. Там что попроще попасться могло, касаться этого чего попроще не хотелось, вот он и вздыхал, когда бабушка кивала на ведро. Земля — это кладезь, в ней столько всего зарыто, человек и представить не может: копейки, полиэтиленовые пакеты, головы королей, шестнадцать отрубленных правых рук, саркофаги весом в тридцать тонн и останки динозавров. Он думал об этом, в четвёртый раз намыливая и в четвёртый раз смывая с рук моющее средство. Мыло закончилось, его не покупали четвёртый день, руки покрывались красными пятами, но делать было нечего.

Вытирая туфли о траву, Белый поймал на себе заинтересованный взгляд. На него смотрел старик с фиолетовым пятном на носу. Жилетка порвана, на нижней губе — розовый рубец,

не внушает доверия. Белый, напротив, выглядел как человек, которому можно было доверить не только историю своей жизни, но и паспорт, банковскую карту и фотографию дочери. Было в нём что-то располагающее, должно быть, крупные черты лица или позеленевшая подошва. Разве кто-то высокомерный, хвастливый или надменный будет вытирать кожаные туфли о траву? Старик почувствовал в Белом родственную душу, и поэтому, припадая на левую ногу, подошёл.

— М-м… Младой члвек, будьте любезны, будьте так добры… Я что хотел… Скажите, на хлеб у вас случайно не найдётся?

Подошедший был низок, худощав и сутул. Он мелко подёргивал головой и не осмеливался поднять на Белого глаза, близость по духу близостью по духу, стыд — стыдом. Он ведь не у всех просил, не у каждого встречного, только у тех, кто понимал! Хороших людей несложно отличить от плохих, так вот он подходил только к хорошим. Отказ хорошего человека неприятнее, чем отказ подлеца, но так хотя бы есть надежда. Когда ему говорили «извините» с сожалением, он прощал, если без сожаления, он всё равно прощал. Их можно было понять: слабости необязательно и даже нежелательно потакать, в конце концов, на хлеб ему всегда хватало, просил он на что покрепче. Что покрепче — тот же хлеб, так что он никто никому не лгал, просто перефразировал.

— Неудобно, младой члвек… Неудобно, но вдруг, вдруг…

Денег у Белого не было, они остались в портфеле, портфель — в Каштане, игла — в яйце, яйцо — в утке, утка — в зайце, и всё же огорчать этого и без того огорчённого человека было стыдно, ещё более стыдно, чем тому — просить.

— Да, понимаете… Не с собой, понимаете? Мы, может, дойдём? Там недалеко, я возьму.

— Все вы вот, все так грите! — мужчина закивал головой, — дойдём, не с собой, дойдём! Ладно уж, не надо, зажал так зажал.

Он поднял на него свои мутные глаза, и в них была такая гордость, будто бы Белый только что пресмыкался перед ним, а не наоборот. Пресмыкающиеся — это черепахи, крокодилы и ящерицы, а он — человек, человечище. Наплевать ему на этих городских бессердечных гадов, подыхают все одинаково: и в больших городах, и в маленьких, и в деревнях, и в сёлах, и те, кто просит, и те, кто даёт, и те, кто зажимает. На том свете уж он отыграется, там уж все их «нет» да «нет, извините» припомнит! Там жизнь другая, там каждому по заслугам, по помыслам! Он звёзд с неба не хватал, зато людя́м

помогал, о здоровье справлялся, о детках спрашивал, а эти — эти в пиджачках, в галстучках? Э-э-э, пиджачки, галстучки…

— Нет, правда, послушайте, пойдёмте, — Белый подался навстречу порванной жилетке и мутным глазам, но они вскинули руку.

— Не надо, не надо мне ваших подачек, — мужчина покачал головой и двинулся туда, откуда пришёл. Голова продолжала мелко подрагивать, клониться к плечу, но незнакомца это ничуть не смущало. Он был таким же человеком, как и Белый, как и все остальные, и потому достоинства не терял. Этот тридцати-тридцатипятилетний мальчишка, может, и выглядел лучше, но он не видел того, что видел он. Пусть хоть подтирается бумажками, пусть, а душа — душу не купишь, её тренировать надо, воспитывать. Мужчина завидел выходящую из магазина молодую женщину с коляской, и обида на Белого отступила. Женщины — существа страшные, подумал он, страшные, но ранимые, если эта — мать, то можно к ней подступиться, матери — они чувствительные, у них все — дети.

Белый какое-то время наблюдал за только что отошедшим и мучался угрызениями совести. За что, казалось бы? Всегда так: подходит женщина, жалуется: «сыночек в больницу попал, операция, денег нет», знаешь прекрасно, что ни сыночка, ни операции, а внутри что-то спрашивает: ты уверен? Представляешь себя на её месте, становится дурно, рука тянется к кошельку, но в последний момент ты её отдёргиваешь, не ты даже, а здравый смысл. Вот и спрашивается: кому верить, кому нет?

Женщина развернула коляску прежде, чем мужчина успел с ней заговорить. Она наверняка была из хороших людей, но и хорошие люди опасаются за себя. Ладно, если бы одна, а тут — ребёнок. У матерей не все — дети, у матерей их дети — дети. Мужчина присел на бетонную ступеньку и уставился на Белого, мол, посмотри, до чего ты меня довёл, до чего меня вы все доводите, все беды от вас.

Белый не отвёл взгляда. Неужели правда не всё равно ему было на этого странного, старого и продолжающего стареть, чуть ли не мёртвого человека? Неужели ему был не неприятен запах немытого тела? Немытое тело, чистая душа. Души, души, души, кто же, что же вас задушит? Белый душить никого не хотел, он не отводил взгляда потому, что увидел в незнакомце своего учителя, своего учителя по ОБЖ. Алексей Михайлович, как и Вера Георгиевна, канул в лету, но его образ жил. Образы живут дольше людей, они ярче, неправильно видеть в человеке образ, а не его самого, — кто сказал? Неправильно,

правильно, правильноне. Белый увидел Алексея Михайловича, хотя он был Андрей Геннадьевич, не учитель, а водитель, но и закаты не бывают голубыми, реки — красными, а синицы — журавлями. Очи чёрные, ночи белые, девы красные, реки синие, синий — красный, красный — синий, голубой. Она тоже была для него образом, до недавнего времени не была, до недавнего времени её и самой не было, а потом она пришла и стала. Всё потухло, трава пожухла или, что зазря придираться к траве, стала ещё зеленее. Такой зелёной она не была давно, в прошлой жизни она была такой зелёной, прошлая жизнь — это жизнь до неё, сколько жизней он уже прожил — сотни, десятки, тысячи? Послушаешь одного — жизнь раз, другого — два, третьего — три, а он их слушал, они были ему интересны. Что может быть интереснее жизни — математика? Для математика — да, математика, для него, человека, — жизнь.

Сейчас он был розовым рубцом и фиолетовым пятном на носу. Алексей Михайлович учил Белого стрелять из автомата, а у него мишени плыли перед глазами — плохое зрение. Он не увидел мишени и после, когда надел очки, специально не видел, кто мишени и зачем автомат? Куда интереснее слушать про правила дорожного движения, про первую помощь, кто-нибудь что-нибудь слушает на уроках ОБЖ? Слушай-не слушай, запоминай-не запоминай, да разве они спасают? Красный — зелёный, зелёный — красный, не спасут их и светящиеся наклейки, наклеенные заботливой рукой на курточку, водители несутся, они не спасутся. Клей-не клей, плакаты вешай-не вешай… Алексей Михайлович-Андрей Геннадьевич привстал, вздохнул и поплёлся обратно к Белому, раз не уходил, значит, надо было подходить.

— Ну… Ну я передумал, пойдём. Пошли, говорю, недалеко ж там.

Сколько гордости, в очередной раз подумал Белый, подумал и рассмеялся: занять бы.

— Чё ржёшь? — спросил Андрей и отчего-то сам рассмеялся. — Ржун, ну! Экскурсия по Петушкам, плучается!

Экскурсия по прошлому, по детству. Белый, Белый, где ты был, на Фонтанке водку пил? Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове! Пока он был на Фонтанке, они выпивали не по рюмке и не по две, а головы у всех кружились. Они прошли мимо сине-белой водонапорной башни, старик пошутил: «чё, у вас сине-белыми заборами другое обносят, а?» Белый парировал: «а у вас обносить некого, все на свободе ходят», доверие между ними крепло. Следом за водонапорной башней шёл, стоял, как он мог идти, ларёк с надписью: «С нами читают миллионы». Белый подумал, что с ними, с Петушками,

никто не читает. Жаль их, в Каштане на деревянных полках стояли книги неизвестных ему авторов — Нина Бичуя, Анатолий Кузьмичёв, Василий Курочкин, Лидия Сейфуллина, Николай Бораненков, Александр Чаковский, Тихон Сёмушкин, Сергей Воронин, Иван Папаскири, Амур Батошка, кто-то Мирмухсин. Мир Мирмухсину! Мирмухсин — муха на куске мяса, они с Андреем Геннадьевичем, то есть Алексеем Михайловичем, проходили и мимо такого — валялся, завёрнутый в полупрозрачный пакет, истекал кровью. С Мирмухсином читали миллионы, с Петушками читали миллионы? Мух на куске мяса было больше, чем тех, кто вспоминал о Петушках и тех, кто стоял на полках петушинского кафе. У Белого сжималось сердце, а Петушкам было нормас, Петушки ваще свои ребята были, чё им Москва, чё им Белые? Счастливые люди, полноценные! Они полноценнее его, он всё что-то ищет, всё рвётся куда-то, а они, молодцы, нашли и дорвались без исканий.

На остановке под брезентовым настилом спал мужчина. Белый не спал ночами, а он, этот мужчина, спал и был совершенно счастлив! Крепкий сон приходит к тем, кто не зарывается, не теряется в себе и при других. Брезентового мужчину сложно было назвать гением или высокообразованным человеком, зато он мог спать посреди улицы и у всех на глазах — чем не дар? Преподавать — проклятие, спать — дар, казалось Белому, а брезентовому мужчине не казалось, он твёрдо знал, что одарён даром мгновенного засыпания. Хороший сон — залог здоровья, Белый бредил Врубелем и Петровым-Водкиным из-за недосыпа. Его нервы были расшатаны, вот он и пошатнулся в тот вечер, когда подумал, что сейчас умрёт. Ни о каком радужном теле и речи не шло, речь шла о переутомлении. Переутомление требовало лечения, но Белый был из трудоголиков, он не знал, что трудоголизм — это почти что алкоголизм, последствия и у одного, и у другого тяжёлые. Шкала здоровья замерцала красным цветом, но психическое здоровье — не физическое, если щёки не горят, значит и шкала в порядке, думал Белый и прогадал. К гадалке не ходи — к чему приводит бодрствование по двадцать часов в сутки? К замутнению, затемнению сознания. Тёмные аллеи в голове, одна мысль пошла в одну сторону, другая — в другую, и мыслительный процесс разошёлся, раскололся. Белого начали мучать колики в голове: он мог накричать на продавщицу в магазине или перестать различать цифры в витрине, мог услышать то, чего никто не говорил и не услышать того, что только что сказали. Ему говорили: «отдохни», но он не умел, таков удел, он только произносил: «да, да», а сам продолжал работать: что-то писал, что-то читал, информационный поток съедал. В голове крутились десятки дат с десятками новостей, десятки имён с десятками фамилий, всё смешивалось и

замешивалось в одну сплошную. Белый трудился напропалую, труд был самоцелью, он не гнался ни за степенью, ни за победой в конкурсе «преподаватель года», работа была необходима ему, потому что без неё он начинал скучать, от лежания на диване утомлялся больше, чем от гуляния.

— Как относишься к юродивым? — неожиданно спросил Андрей Геннадьевич.

— Никак, — ответил Белый, хотя за глаза его так и называли. Два божьих человек шли по Петушкам, один — типично юродивый, а другой — нетипично, одетый и обутый. Сын Сеткиной, Миша, тоже часто дурил, но дурным человеком не был. Он как-то принёс в школу крест, достал его на уроке и благословил своего одноклассника на ответ у доски. Сеткину после этого случая вызвали к директору, а потом Миша уехал из Петушков и стал проректором. Пути Господни неисповедимы, день — проректор в кабинете директора, другой — проректор у того же директора, но уже не в кабинете, а на планшете — гордость, мол. Миша учился на тройки ровно до того момента, пока его не заинтриговали триггеры, пока он не наткнулся на психологическую статью или пока психологическая статья не наткнулась на Мишу. Под другим углом посмотрел он на образование после этой статьи, образ образования преобразился, и Миша изменился. Его заволновало волнение, забеспокоило беспокойство и заинтересовал интерес, люди опредметились, превратились в предметы для изучения. Один из таких предметов подсунул Мише Ницше, и Ницше стал Мишиным Врубелем, но если Белый играл в Демонов в детстве, то Миша начал играть в сверхчеловека в старшей школе, играл серьёзно, а не на приколе.

— Скоро ночь сменится бесконечным днём, и для людей не будет ничего невозможного, они полюбят самое сложное, — говорил Миша своим одноклассникам, и те крутили пальцем у виска. Он читал проповеди на переменах, и, если бы перестал спать, стал бы Белым окончательно. Как люди схожи и непохожи — в Петушках и слышать никто не слышал про Заратустру, кто в Петушках читал Ницше? Только тот, кто любил Врубеля, так и произошёл их разговор: Белый приезжал в Петушки и привёз с собой свою библиотеку, Миша взял с полки «Так говорил Заратустра» и был таков. Обмен мнениями, обмен между поколениями, откуда Мише было знать, что его вдохновитель несколько лет назад учился в той же школе, что он, его вдохновитель, отверг его мать, и, сложись всё несколько иначе, сам мог бы стать его отцом.

Они были другими, но не помешанными, а увлечёнными, так увлекались, что забывались. Реальность переплеталась с вымыслом, вымысел наполнял её смыслом, а над ними за это издевались, с увлечённых причиталось за их увлечения, назвался сверхчеловеком — отвечай за слова: Миша бегал по стадиону не круг и не два, а десять. Десять кругов — это сложно, а сверхлюди выбирают всё самое сложное, вот его и заставляли отвечать за слова и отвечать на каждом уроке, даже если он был не готов, особенно если он был не готов. Последователей, про которых писалось, Миша не находил, не находил он и друга, с которым мог бы одиночествовать вдвоём, старший брат, Никита, тот, что пах мёдом и мечтал стать машинистом, с ним не общался. Он выбрал толпу, а толпа выбрала его лидером: лидер не мог дружить с отщепенцем, щенок-отщепенец, однажды Никита едва с ним не подрался. Миша слушал радио и писал в дневнике: «На заре эпохи людям нужны Цезари. Цезари зари, не крови, крови слишком много, а зорей — мало; огненные, полыхающие, но не испепеляющие — вот, на кого вся надежда». Он причислял себя к надеждам, но был ненадёжным: его могли назначить дежурным, а он мог об этом забыть и пойти читать «Быть или не быть?» Никита не был надеждой, но был надёжным, надёжность ценилась выше надежд, поэтому если бы Сеткиной задали вопрос: «Кого из своих детей вы любите больше?», она бы ответила, что о таком не спрашивают, но подумала бы: «Никиту». Никита пользовался популярностью у девочек, девочкам нравились двоечники, а двоичные коды, которыми Миша загорелся после триггеров и Цезарей, не нравились. С Никитой было весело, с Мишей могло быть интересно, но они не давали ему шанса. Щупловат, нос-щупальце, переодеть в платьице и совсем как девчонка, мальчик-зайчонка — какие у него были шансы на то, чтобы ему дали шанс? Ровным счётом никаких, все равны, но некоторые равнее. «Пиши ровнее», — советовала Мише учительница по русскому языку, он высовывал язык и старался писать ровнее. Когда они с классом ездили на экскурсию, в его душу запали равнины, бесконечный простор и сотни километров как на ладони — кого такое могло оставить равнодушным? Большую половину класса оставило, они зевали или спали, прислонившись к окну, а Миша ни на секунду не смыкал глаз — боялся, что пропустит что-нибудь. Равнины пленяли своей бесконечностью и ей же утомляли, но Миша был неутомим и внимателен, цеплялся глазами за пролетающих мимо ворон. Он школу с золотой медалью, десять горошин за Мишу! Миша — единственный из первого, пятого и одиннадцатого «Б» выбился в люди! Ай, да Миша, ай да молодец!

Белый с Андреем Геннадьевичем дошли до Каштана, Андрей Геннадьевич набил мелочью карманы своих порванных штанов и

отсалютовал. Перед рассветом кто-то запустил салют, и искры потерялись в светлеющем небе. Белому предстояло прощаться со своими бывшими одноклассниками, Петушками и ушедшей молодостью, когда он заходил, вышла Оля. Оля-одноклассница, Оля-непроливайка, Оля-не-Ольга-Юрьевна, мечтавшая о Питере, но поступившая в Орехово-Зуево, годы изменили её, но красота осталась прежней — всё дело, решил Белый, в волосах, они вьются, мужчины бьются.

— У тебя божья коровка на щеке.

Было видно, что Оля в эту ночь не пила, воздержание от алкоголя сохранило белизну её зубов. Белый аккуратно пересадил божью коровку на палец, и она улетела. Ему вдруг захотелось произнести: «Божья коровка, лети к своим деткам, твои детки на небке, кушают конфетки», но он сдержался, а Оля — нет:

— К любви и удаче.

Символ Богини-матери в различных религиях. Если бы боги существовали, благоволили бы они ему? Благо валила на него богиня мудрости, а богиня любви даже голову в его сторону не поворачивала. Он рассуждал о любви, молил о ней, а на него лились лишь знания, из книг Бунина он узнавал о чувстве, которое заставляло жениться и травиться. О чувстве, вернее, он знал и знал прекрасно, но любовь в сердце и любовь между двумя — это разное. Своеобразно было говорить: «Я люблю её», когда она и знать не знает, а значит, Белый был своеобразным человеком. Вера однажды раскладывала карты на парте, и к ней пристал её одногруппник:

— Вер, её зовут Алина, ей двадцать, так вот ты скажи: будет ли она моей Беатриче?

— А ты мне вот скажи мне, Капустин, будешь ли ты её Данте? Он любил Беатриче всю жизнь, а у тебя, что ни день, то Афродита.

— Так я Арес, то-то и Афродиты. Восхищаться женской красотой и строить планы — разве это плохо? Я каждый раз восхищён и влюблён. Это правда.

— Не даст она тебе, Капустин, — Вера убрала несколько карт. — И я не дам.

Два ноль в пользу дам, Капустин начал было спорить, но вряд ли мог выиграть, поэтому отсел. Ему не везло с любовью, как и Белому, а Вере везло на совпадения, каждый раз, когда она брала телефон, на часах высвечивалось: «одиннадцать одиннадцать» или «двадцать двадцать», будь она более приземлённой, не придавала бы этому

значения, но её стихией был воздух, а не земля, поэтому каждое совпадение имело сакральный смысл. Однажды она сидела с раскрытой книгой, и рядом сидящий человек произнёс: «Саргассово море», — именно так называлась глава, к которой Вера только что приступила. Из сотен сотней совпадений складывались её дни, из дней — жизнь, а значит, Верина жизнь была одним сплошным совпадением. Совпадения, знаки, знамения… Её чувства к Каширину высохли, и она начала присматриваться к окружению. В окружении, кроме Капустина, водились три однокурсника и преподаватели. Показатели у преподавателей были выше, как «быстрее, выше, сильнее» только «умнее, опытнее, мудрее», поэтому Вера и начала заглядываться на них. Михаил Григорьевич, преподаватель по истории, не подходил, потому что был доисторическим, Марк Олегович, преподаватель по русской литературе, был женат, а повторения Вере не хотелось — это знала об этом без знамения, оставался Александр Андреевич, преподаватель по зарубежной литературе, он… Капустин громко чихнул и перебил её размышления. Вера верила во многое, но не в себя, поэтому и решила на время уединиться и стать единицей, разрешить неразрешённые вопросы и завершить незавершённые дела. Она выпустилась, уехала и обещания вернуться не дала, её поработили незавершённые дела.

Бабушка Белого в последние месяцы не ругала его за перепачканные землёй ботинки, она заболевала, не называла его на «ты», изредка узнавала и переставала готовить, хотя раньше от плиты её было не отвести. Цветы начали цвести, но она их не поливала. Ей постоянно хотелось есть, вот только что был обед, а она уже думала об ужине — когда же, когда? Проходили час, полтора, а у неё уже ныло в желудке, звало. Звонки от Белого она всё чаще пропускала, а если отвечала, говорила сжато и скомкано, и у Белого скатывался в горле ком. Раньше они разговаривали часами, а теперь часами молчали, бабушкин взгляд становился от приезда к приезду туманнее, ответы на вопросы — пространнее, было больно наблюдать за тем, как она не может встать и с кем-то здоровается. Она видела посторонних людей, спрашивала, во сколько отходит поезд, и звала какого-то мальчика: «Мальчик, мальчик, если ты наш, помоги». Белый предлагал свою помощь, мол, давай вымою посуду, давай пол протру, но она взмахивала руками и отнекивалась. Время шло, состояние ухудшалось, и Белому ничего не оставалось, кроме как увезти её в больницу, где она и скончалась. В эту же больницу через несколько лет попал младший сын Сеткиной, Миша.

Он ускакал из дома и обскакал своего брата: поступил на хтоническую специальность — на архитектора, его архетип — герой,

хотя мог бы быть и шутом, шутил не всегда уместно, но всегда. Не бережёного бог не бережёт: Никита разбился, гоняя на мотоцикле, его можно было называть Призрачным Гонщиком, остался один призрак. Это было первым выстрелом.

Вторым стала поэтесса, в которую Миша влюбился, которой признался и которая ответила: «извини, я не могу». Тогда-то он и погиб. Отчаявшись, углубился в гностицизм и до того углубился, что слова «плерома» и «эон» стали для него понятнее, чем «база» и «карниз». Горе превратило Мишу-архитектора в Мишу-мистика, сидя на лекциях, он открывал Википедию и забывался. Он читал про Логосы и мировые души, хотя раньше его это не волновало, его волновал он сам и почему, к примеру, на колене время от времени появляется красный след, хотя отпечатываться на нём нечему. Здоровые белые зубы Лизы, Елизаветы, Веты, Ветой её называли все, кто знал, породили нездоровый интерес, манию. Миша похудел, перестал готовиться к семинарам, начал ходить по церквям и разглядывать иконы, верующим Миша не был, в том-то и дело — он ходил по церквям, чтобы искать схожесть со святыми. Ему начало казаться, что он — это новый Мессия, потому что в прошлый раз миссия завещал любить, а Миша любить умел, по крайней мере, считал, что умеет. Он скрывал свои новые увлечения от друзей, но друзья, именно потому, что были друзьями, стали замечать изменения. Миша закрылся, начал раздражаться по пустякам, часами просиживал за компьютером и подолгу не мог уснуть. Образ Веты мучал его, он разрабатывал планы достижения её расположения и исписывал ими все тетрадные листы. Его уволили с работы, потому что, раздавая листовки, он начал призывать людей любить друг друга.

— Чё употреблял? — спросил его прохожий, и Миша покачал головой: чист. Вопрос о наркотиках начал беспокоить и его внимательных друзей, они предлагали Мише помощь, но как помочь наркоману, который ничего не употребляет? Любовь — это зависимость, чувство к Вете было единственным веществом, которое заставляло его повторять учение о любви. Миша учил такие пары, как Глубина и Молчание, Ум и Истина, Смысл и Жизнь, Человек и Церковь и забывал про такие пары, как Лёша и Настя, Максим и Юля, Ефим и Алиса, Лёва и Надя. Всё привычно важное утратило своё значение: маршрут от Таганской до Кузнецкого Моста запылился, от здания Большого Театра больше не захватывало дух, Миша подпитывал дух исключительно духовной пищей, ещё немного, и он был готов отказаться от еды. Пить и молиться — и, возможно, божья благодать снизойдёт на него, брат оживёт, а Вета согласится быть с ним. Миша нашёл отсылки к мироустройству в её стихах, потому и решил всё

понять. «Я всё понял» из чужих уст стало звучать странно, потому что нельзя было всё понять, не изучив основ, а основами никто не интересовался. Он копался в копне теорий и дошёл до того, что однажды, познакомившись с девушкой на улице, решил, что она — это Вета в другом обличии. Мысли путались, люди пугались, Миша начал подходить к ним и шептать: «Изыйди!» Ему казалось это смешным, им — страшным. Всё дошло до галлюцинаций: глаза у прохожих расширялись, на руках красовались синяки и ожоги, кто-то смеялся: «Змей-искуситель! Змей-искуситель, ой, ах-ха-ха-ха, да я описаюсь от смеха, ах-ха-ха-ха!», и Миша слёг.

Завтрак в полдевятого, после завтрака двери в туалет закрывают, кажется, что таблетки застревают в горле, а оказывается, что это лишь ощущение, первая палата моется в воскресенье, а вторая, третья и четвёртая — в субботу, на ужин разрешают разбирать передачки, передачки есть не у всех, а телефонов нет ни у кого, кроме Глеба. Звонить сюда можно, а отсюда — нельзя. Звонят многим, но не всем, звонят по многим, но не по всем. Почему Глебу можно звонить, а им нельзя? Глеб — особенный, кто-то вроде проводника: заводит, но не выводит. Лучше бы какую-нибудь Ленку заводил и доводил, а то пациенты да пациенты.

Миша лежал безжизненно, пока другие охали и ахали, просили сводить их в туалет, и санитары надрывались: «Нет!» Запреты относилось обычно не к туалетам. Рядом с окном сидел молодой человек, Гриша, и повторял: «Н-да, н-да, н-да… Если бы да, то да, а так может быть и нет. Ну это самое… Ну то!» Иногда он разговаривал тихо, иногда надрывался надрывнее санитаров, а иногда шептал чуть слышно, еле-еле ворочая языком. Язык — смертельное орудие, язык — спасение, может и своими «н-да, н-да, н-да» Гриша кого-то убивал или воскрешал. Кто знал?

Среди пациентов было много любопытных экспонатов, экспертов по хвастанью, кому и куда наложили швы. Швы, вши… И почему у него от этих разговоров ничего не сводило, не зудело, а стоило только возникнуть воспоминанию о прошлой жизни, не возникнуть даже, а проникнуть, пролезть, протиснуться и сжать голову в тиски, изнасиловать её, как всё начинало ныть как покорёженные кариесом зубы? «А помнишь, как вы ходили на концерт для фортепиано с оркестром?» — спрашивал себя Миша и готов был расплакаться, расплескать всю свою выдержанную выдержку, выдержка выдержки — двадцать семь дней, в больнице лежали ровно по сорок. На сороковой день приходил врач, и всё решалось. От воспоминаний тело будто бы набивали кирпичами, и оно, потяжелевшее, готово было вот-вот упасть. Без возможности

встать упасть, без вести пропасть, пропасть между «тогда» и «сейчас», не попасть в «тогда», теперь только в «никогда» или во «всегда». Никогда не говори никогда. У всех всё по-прежнему, а у меня? Они остались, а я? «А помнишь, как вы зарисовывали понравившиеся здания в блокнот?» — спрашивал себя Миша и готов был кричать. Всё он помнил, а поделать ничего не мог, считал зазубрины на решётке и зарубал на носу: «считать и не вспоминать, так проще». Ещё Толстой писал: «Самый верный признак истины — это простота и ясность», а истину-то он и искал, что истинно, что ложно? То, что таблетки застревают в горле — ложно, а кажется…

Вернёмся к экспонатам. «Все по палатам, все по палатам!» — кричали на них. Экспонат первый — Гриша, разговоры обо всём и ни о чём, ему всё — ерунда и всё — правда. Он часто говорил о какой-то Одетте, и Мишу подмывало спросить: «А что же не Одиллия?», но он держался особняком. Особняк среди старых, полуразвалившихся домишек, кто бы поговорил с Мишей о «Лебедином Озере»? Гриша вёл беседы о супах и мало смыслил в судах, его фамилия — Правосудов, ирония. На Мишу нападала агония, он просил: «Яду мне, яду!»

Время укорачивали раскраски и книжки, интрижка с книжкой — вот, что помогало не задыхаться от своих мыслей. История про первого летающего человека и Индию — с Мишей не было Чайковского, они лежали с Беляевым. В девять он читал сказку, в десять — садился за раскраску, других красок не было, приходилось раскрашивать время чем попало. Сказки попадались удачные, удача — не его второе имя, но в небольшом везло. Небольшое — весло, хватайся и выкарабкивайся, кайся. Ей богу, Миша — Кай с замёрзшим сердцем, экспонаты не впечатляют, а впечатывают в тоску. «Что за ними наблюдать?» — думал он, каждого подавали на блюде: Женя улыбался и рассказывал про детей, хоть завязочки пришей, то ли улыбка такая широкая, то ли рассказывал слишком много, то ли завязочки вообще нужны не Жене, а его детям. В кроссовках с непришитыми завязочками не побегаешь, а им ещё бегать и бегать. Им, а другим? Другим лежать и сорок дней раскрашивать раскраски. Сорок дней, сороконожка, человеческая многоножка, в которой всё и все связаны, все перед всеми обязаны. Чем-то вязким обязаны, вязкая вязка, завязки, завязочки… Никого не знаешь, а ощущение, что умирали вместе.

Мише нравилось читать про войну и знать, что кому-то было хуже. В тюрьме, на войне хуже, в больнице худо, но не наихудше. До больницы он читал про любовь, а тут хотелось о смерти. О смерти до нового рождения или, как они говорили, до выписки. Выписка, расписка, получите и распишитесь: у вас проблемы с головой.

Умерьте пыл, умеренность, именно умеренности вам не хватало — всё на скаку, всё на лету. Доскакались, долетались? Можно было бы чуть замедлиться, и могло бы пронести. Дядю Борю после гранатового сока вперемешку с кефиром проносило знатно — в чистилище очищались не только духовно, но и физически. Сперва дух, потом тело, сперва внутреннее, потом внешнее, откуда в Мише было столько духу? От верблюда. В детстве у него был плюшевый верблюжонок с миндалевидными глазами, проведёшь ладонью по горбу — щекотно, дух-то и окреп благодаря ему. Святые духи… И всё же о смерти и войне: они пришли из стихотворений Симонова, палата номер шесть — Миша, Беляев и Симонов.

«Перемен!» — требовали сердца, требовали глаза. Женя рассказывал про детей и улыбался, Гриша разговаривал не то со всеми сразу, не то сам с собой, Глеб провожал пациентов, проводник во внешний мир, проводник с проводом, им звонить нельзя, а ему — можно. Что могло быть однообразнее и несуразнее? Когда таблетки застревали, стучать по груди было бесполезно, какая жалость. У бесчувственного Миши чувство жалости к таблеткам, хорошо, что не к сигареткам, иначе бы пришлось помогать санитарам с уборкой. Ни мыть полы, ни гладить полотенца с халатами, ни стирать пыль с подоконников и тумбочек, ни тем более стирать перепачканные простыни и наволочки не хотелось. Кто обслюнявил наволочку, кто перепачкал кровью простынь? Всё ради сигарет! На «нет» и предложенья нет — всё по негласным правилам. Санитар у руля, у него и сигареты, и передачки; от санитара зависит многое, человеческая многоножка — все связаны, все обязаны. Обязаны вставать в шесть, ложиться в девять и пить таблетки. Таблетками врачи помогают своим подопечным. Помогают или управляют, клятву Гиппократу давали, но и нарушения бывают, нарушение-выздоровление. Если достаточно сильный, то выпишут, если нет, то неточно.

В палатах было мало воздуха, не надышаться. Задохнуться — не страшно, Лебединое озеро — страшно, смерть — не страшно, маршрут от Таганской до Кузнецкого Моста — ужасно. Ужасным было и то, когда однажды утром он проснулся и понял, что не может нормально говорить: речь замедлилась, гласные начали растягиваться, а согласные — не проговариваться. Проходили дни, а изменения в речи не проходили, только на четвёртый полегчало, и он назвался не «Щеткиным», а «Сеткиным», коим и был. Передал бы ему кто-нибудь пару сонат в конвертах, пару сонат и пару сонетов, они вместо мандаринов и персиков. В шуршащей серебристой обёртке, хотя можно и без неё, можно и в чёрный пакет, в пакет из Пятёрочки

или Ашана. Какая рана, какой нарыв, порыв — какой? Сердечный, а если сердечный, значит, вечный, из сердца попробуй что вынь, попробуй что в него спрячь. Сердце — судья, сердце — палач. Плачь, плачь по сонатам, плач, плач по сонетам, «нет» винегретам, они слишком приземлённые, Миша — слишком влюблённый, влюблённый с лишком. Излишек от набитых в скитаниях шишек, скитания по стране ужасного, маршрут от Таганской до Кузнецкого Моста — ужасно, скитания в поисках прекрасного. От прекрасного в горле застревает ком, а не таблетки.

Дядю Борю трясло, дядя Витя стонал, когда садился и вставал, как Миша сюда попал? Лучше бы этого всего не было, но это всё было, хорошо, что Вета ни о чём не знала, а то испугалась, за Мишу боялись его друзья, не только «за», но и его самого — этого было достаточно, Миша боялся за себя и сам себя — этого было предостаточно. «Я так влюбился, что сошёл с ума» — звучало нисколько не романтично, а пугающе, хотя «сошёл со ума» — громко, а «острый психоз» — точно. Миша плакал в ту пору не по сонетам и сонатам, а из-за Веты и слезами радости, как казалось. Слёзы радости не доводят до добра, как оказалось. На второе была перловка, маслянистая, на первое — суп с овощами. Так теперь и считать: два-раз, два-раз, два-раз, сколько времени прошло, который час? Часы — злейшие враги, вечность проходит от завтрака и до обеда, от обеда — до ужина. «На-на-на!» — напевал дядя Боря, а Миша врал, что его зовут Иов. Ему казалось, что говорить своё настоящее имя опасно, а опасно было выдавать себя за Иова, как оказалось. Оказия за оказией, если бы кто-то оказался на его месте, этот «кто-то» стал бы кем-то другим. Дни текли один за одним, в нос бил запах хлорки, в носу щекотало, за окном стрекотало. Таял лёд в Мишином сердце, таяло его безразличие, перед глазами маячила вывеска о выписке. От её сверкания Миша оживал, становился разговорчивее и сговорчивее. Игра в молчанку превратилась в игру «наговори как можно больше», чем больше, тем лучше. Чем больше Миша читал, тем лучше запоминалось. Книги помогали ему одерживать верх в самой сложной борьбе — в борьбе со временем.

Его обследовали и спрашивали: «Нет ли боли при мочеиспускании?» Он отвечал: «Нет», а после придумывал, что есть. Вернее, так начиналось казаться, но «казаться» — не показатель. Однажды он опоздал на десять минут, и эти десять минут потянули за собой часы, всё перестроилось: сдача анализов отложилась, массаж укоротился, приём у заведующего перенёсся. Что такое десять минут? Десять часов и десять дней, если за них успевает произойти что-то важное. От важного к отважному, Миша отваживался ложиться на

капельницу. «Зажмите кулак» — просила медсестра, и он послушно зажимал, игла входила в вену, капельницы и те были развлечением. Можно понаблюдать, как стекает желтоватая жидкость, с особым трепетом — когда её остаётся совсем немного. Пока наблюдал, Миша вспоминал: в детстве они с дедушкой копали червяков и шли с ними, раскопанными, на рыбалку. Миша закидывал удочку и зацеплял леской стоящее неподалёку молодое деревце, дедушка посмеивался, мол, какой улов! Миша краснел, мол, да, какой. Приходилось распутывать леску и закидывать удочку ещё, на этот раз не замахиваясь столь сильно. Дедушка мог не двигаться часами, а Мише быстро становилось скучно, и поэтому он начинал ходить из стороны в сторону, вздыхать, переобуваться и срывать с деревьев листья. Откуда берёт своё начало любовь к их обрыванию? Миша размышлял о тяге к разрушению. Как по-другому назвать то, что толкает братьев прыгать на песочные замки, построенные их сёстрами, и вырывать из земли травинку за травинкой? Пищи для размышлений находилось немало. «Я мыслю, следовательно, я существую» — Декарта принёс в палату Беляев, и Миша понял, что существует, но не живёт. Он прогуливался от окна к окну и разглядывал прогуливающийся медперсонал, в то время как им, пациентам, гулять не разрешалось, их, орлов молодых, держали взаперти.

В одно из посещений Ефим с Алисой, те, кого Миша чуть было не променял на Глубину и Молчание, принесли печенье. Его приходилось есть в сухомятку, липового чая не было, не было и тёть, которые могли бы им угостить, поэтому никакого восторга Миша не испытывал. В эйфории он жил «до», «после» приступы восторга и слёзы радости не преследовали. Манией преследования страдал Дядя Боря, как и Миша, видел в одних людях других, но ни о какой любви не было и речи, ему казалось, что его хотят похитить инопланетяне. Он говорил, что видит блеск в их глазах, что они прячутся среди людей и говорят, что хотят помочь. Дяде Боре никто не мог помочь именно поэтому — он никому не верил и отказывался принимать лекарства. Миша только допускал мысль о лекарствах как о средстве управления, Дядя Боря же свято в это верил. Во что лучше верить — в инопланетян или в собственную святость? Лёша искал что-то у себя в волосах, ему казалось, что в них что-то спрятано, что, если чесаться, оно непременно выпадет, Максим хотел пролезть между решётками и выпрыгнуть из окна, хотел и чуть не выпрыгнул. Пока его оттаскивали, он укусил одного из оттаскивающих, и на плече остались отпечатки зубов. Простыни так и пачкались, плюс в женском отделении мог кто-нибудь протечь, а отстирывать всё приходилось в тазиках. Укус обработали зелёнкой, мало ли: среди больных вряд ли водились инопланетяне, но какая-нибудь зараза

вполне могла быть. Максима поймали и привязали к кровати, он, худощавый, в самом деле мог пролезть в окно, пролез бы, но не вылез — сломал бы ногу, а там бы и санитары подоспели. Им было не в первой.

Что происходило с психикой больных — это любопытно, но что происходило с психикой санитаров — ещё любопытнее. Попробуй в здравом уме побыть рядом с умалишёнными, причём даже не «побыть», а «попребывать», как не изменишься? Санитары загрубевали, ожесточались, как жестоко обходится жизнь с теми, кто приходит в психбольницу по доброй воле, с теми, кто не просто приходит, а почти что живёт в ней: день через день смена. Они носили халаты, но не белые, а синие, сине-зелёные, при одном взгляде на эти халаты некоторые пациенты зеленели, в палате Мишу прозвали зеленью. Глядя на него, чёрствые санитары смягчались и качали головой: «Какой хороший мальчик… Что же ты делаешь здесь?» Миша качал головой и не находил, что ответить. Найдёшься тут, когда находишься среди биполярных расстройств и депрессий, деменций и диссоциативных расстройств. Когда к Андрею нужно было обращаться как к Андрею, а когда — как к Гавриилу? Миша читал про архангела Гавриила, но Андрей был попроще, Андрей говорил, что Гавриил любит играть в футбол, а он, Андрей, — нет. «У Гавриила зелёные глаза, — он говорил, — а у меня, сам видишь, голубые». Дядя Боря мог бы рассказать Андрею про инопланетный блеск, но они не разговаривали.

Когда Миша вышел из острой стадии, в него вошёл острый приступ вины. Он и вина-то никогда не пробовал, а тут такое недоразумение — потеря разума. Ещё повезло, что всё случилось быстро, а то ведь люди живут годами, живут и не выходят, нейронные связи переплетаются в такие узлы, что и бывалые моряки не развяжут, постепенно становятся Дядями Борями, а Дядя Боря — это уже не острый психоз, а шизофрения, а может, мания с чертами шизофрении, Миша не ставил диагнозов, этим занимались специалисты, он только догадывался и пугался: вдруг он точно так же болен? Врач на первой же встрече сказала: «Вы не больны», но врач мог говорить всякое.

На тумбочке лежал рулон туалетной бумаги, оранжево-зелёное полотенце и фломастеры, в тумбочке — зубная щётка и жидкое мыло с ароматом зелёного чая, Миша лежал на матрасе, под матрасом — железная кровать, на железных кроватях спят зэки. Сергей, сопалатник, делил хлеб на пополам, опускал похабные шуточки про медсестёр и в приступе гнева переступал черту дозволенного: бросался подушками. Душок за ним вился как за бездомными,

которые, бывает, заходят в метро и отгоняют от себя половину вагона.

Перед глазами маячила вывеска о выписке, оставалось тринадцать дней, тринадцать — это магическое число, как и сорок, но в магию Миша уже не верил и верить не хотел.

Вылечился он не самостоятельно, вылечила его Владислава Алексеевна — молодой психиатр. Поначалу Мише казалось, что Владислава Алексеевна — это Вета в другом теле, столь же красивом, пусть и другом. По мере выздоровления всё встало по своим местам, но Владислава Алексеевна привлекательности не потеряла. Она была молода, она была женщина, в мужском отделении женщины — редкость, молодые тем более, она была не такой, как санитары — въедливой, выедающей мозг, до симпатии к ним не доходило даже у тех, кто воздерживался годами, всё то человеческое, что в них сохранилось, не позволяло им и мысли об этих в большинстве своём обрюзгших существах. Стокгольмского синдрома не наблюдалось.

Что ни день, в палате номер шесть, да и во всех других, Миша догадывался, пациенты обсуждали Владиславу Алексеевну, причём не шутили, как над медсёстрами, не вымарывали в грязи, как всё тех же санитаров или надоедливых, въедливых соседей, а именно обсуждали. Пациенты с нетерпением ждали обходов, чтобы пожаловаться на свою нелёгкую судьбу, и не кривили душой — судьба у них была нелёгкой. Миша по началу был одним из всех — да, Владислава Алексеевна воспринимает их как людей, а не как нелюдей, да, глаза большие, да, не только глаза, но как только в палате появился Иван — интерес к Владиславе Алексеевне стремительно вырос. Иван был молод, как и Миша, зубы его, как и Мишины, были целы, и именно это и объединило, а после и разъединило их. Иван, в отличие от Гриши, Дяди Бори и Андрея-Гавриила знал, что Глинка — это композитор, а не диминутив осадочной горной породы. Первые пару дней Ивана накачивали феназепамом, он спал, ел, спал и спал, а после, видимо, как выспался, как его глаза превратились из заспанных щёлок в обыкновенные глаза, у них завязался диалог:

— Привет, я Миша.

— Иван.

— Как тебя угораздило сюда?

— Да так же, как и всех. Не спал трое суток, понял, что не усну, вот и приехал.

— А почему в острое?

— А кто его знает? А это острое у вас? То-то все такие…

— Ну странные, да, не поспоришь, но ты привыкнешь, они не агрессивные так-то. Если, конечно, не в лицо подходить, говорить: «жесть, ну чё ты дёргаешься, ну успокойся». Я не проверял, конечно, может, они и норм реагируют, но лучше не рисковать.

— Не буду, — послушно согласился Иван и рассказал, что учится на лингвиста, хочет бросить и переехать за границу, что есть у него одна не сказать, чтобы уж очень молодая, но и не старая поклонница, так он странно её называл — поклонница, которая помогает ему с поступлением, нет, не из преподов, предупредил Иван, просто помогает. Она носила ему передачки, и Иван заседал в холле с учебниками по грамматике и ходил по палатам спрашивал: не знает ли кто, как переводится beetle? Миша не помнил, но удивился, когда Ивану подсказали слово «жук», когда сказали: как The Beatles же. Не всё было потеряно, права была Владислава Алексеевна — люди. Ещё Иван рассказывал, как он в свои двадцать два зарабатывает больше, чем оба родителя в сорок шесть:

— Как тебе сказать, не знаю, как ты к этому относишься… Вебкам, в общем.

Два года как занимается, до чересчур откровенного не доходил, но не отрицает, что дойдёт — как поувереннее станет, если не выиграет стипендию на обучение во Франции или Венгрии, ещё не решил, возьмёт gap year и заработает. Как Иван может стать поувереннее, Миша не знал — и так говорил так уверенно, что Миша задумался: тем ли он занимается по жизни? Тоже мог бы тоже в Венгрию поступить или в Австрию, например, почему бы не в Австрию? Был он заперт между Москвою и Подмосковьем, не видел ничего, а Иван путешествовал по четыре страны в год, вёл блог (не о своей профессиональной деятельности, конечно, в целом — о себе) и снимал двушку на одного где-то в Бутырском районе, пока Миша жил в общежитии в Кузьминках. В Кузьминках люди собирались разве что на поминках, много парков — хорошо, уточки — хорошо, чтобы доехать до метро нужно ещё пятнадцать минут ехать на маршрутке, тараканы, которые выбегают из духовки, как только выключаешь свет — плохо. Миша шутил, что тараканы — это не самое отвратительное, что есть в общежитии, они — те же питомцы, самое отвратительное — это длинноволосый сосед, который не убирает за собой ванну, из-за чего рыжие волосы скатываются в мокрый бурый комок, сосед, который ещё и смывать за собой забывает. Романтика! Романтика тоже была — хождение по комнатам в третьем часу ночи, поиски упавшего с четырнадцатого этажа беспроводного наушника

и, что ещё интереснее, — его нахождение на балконе девятого этажа, как найдёшь такую крохотную вещицу, а они нашли! Обежали всё с тринадцатого по первый, выходили на улицу, чтобы проверить — не на асфальт ли приземлилась, и со второго обхода нашли, ночь, минус двадцать, они в чём-попало, без курток даже, шныряют меж комнат, разве что не стучатся в них. Романтика была и в том, как ночью, вся романтика происходила ночью, днём — не то, решали прийти посмотреть в двенадцать десять фильм и не уходили оттуда до утра, потому что уснули. И всё же всё это меркло перед двушкой Ивана, перед его личным, а не общественным пространством.

— И как ты решил заняться этим? Ну, вебкамщиком как решил стать — с детства мечтал? Или по родительским стопам?

— Смешно. Да нет, знакомая как-то рассказала, что её знакомая работает и неплохо получает. Я и решил углубиться, изучить, чё как работает, ну и нормально, пошло. Говорят, что туда всякие отчаявшиеся идут, но это неправда, конечно, всякие-разные там. Даже очень обеспеченные есть, для кого-то это типо хобби.

Иван оказался опытным, Миша с его роковой влюблённостью и не знал, что в двадцать-двадцать два за спиной могут быть десятки отношений и недоотношений. Иван поведал о Васе — Миша так и не понял, была это Василиса или Василина, а может Василий, котор(ая / ый) сподвиг(ла) Ивана на расширение мировоззрения: узнал про свободные отношения, не понравилось, попробовал ещё раз, понравилось, принял участие в костюмированной вечеринке, потом в ещё одной, и закрутилось — был дьяволом, котом, дьявольским котом, обо всём Иван рассказывал не то, чтобы подробно, Миша всё же был ему малознаком, но и этих неподробных описаний хватало. Что мог ответить Миша — здорово, а я даже не целовался с девушкой, в которую влюблён, даже за руку её не держал, да и в неё ли я влюблён? Миша многозначительно молчал, как будто и он через всё это проходил, а то и через что поинтереснее, но предпочитал об этом не упоминать. Ивана монолог, не диалог не смущал, он продолжал: однажды его чуть не изнасиловали, он прогуливался в парке — не в Кузьминском ли? — и за ним увязался какой-то мужик, мужик сказал: «Или ты щас со мной едешь, или я тя прям тут…» Миша согласился, указал адрес, который указал мужик, заплатил за такси, мужику платить было нечем, доехал до обшарпанной панельки, зашёл в подъезд, провонявший кошками, дошёл до деревянной, исчерченной фломастерами двери, подумал: «Неужели у него есть дети?», зашёл, дошёл до кровати, заправленной тигриным покрывалом, не тигровый принт, а натуральные морды тигров, подумал: «Извращенец» и, пока мужик снимал с себя штаны, рванулся к двери, перепрыгнул через

первый пролёт, второй, содрал ладонь об перила, выбежал из подъезда и бежал, бежал и бежал, пока не начало сдирать лёгкие.

— Так прямо и изнасилование? Так прямо и мужик?

— Прямо так, да.

Если всему остальному Миша верил, то в этой истории ему чего-то не хватало, он мог поверить, конечно, чего только не бывает, но всё же шероховаты были эти фломастеры, тигры…

— Ну да бог с тобой, главное, что всё закончилось хорошо.

— Ну как хорошо? Я потом неделю говорить почти не мог, простудился.

Иван, как раскраска, скрашивал Мишино пребывание в палате номер шесть, завоёвывал доверие своего новоиспечённого товарища природным обаянием, и Миша наконец решил заговорить о Владиславе Алексеевне:

— Она хорошая, я что говорю, хорошая. Доверие внушает, да…

— И ты не прочь поиграть с ней в доктора-больного?

— Вань, здесь… Это не самая подходящая игра.

— А если б не здесь? Если б просто ногу сломал?

Миша подумал, что, к стыду своему или к выздоровлению, она ему нравилась. Нравилось ему беседовать с ней в её просто обставленном кабинете, нравилось слушать, как звук «р» произносится ею как звук «гх», он чувствовал себя расслабленно, будто она была его сестрой или подругой. Подругой, скорее. Когда он рассказал ей обо всём — о реинкарнации и бодхисаттвах, о превращении верблюда во льва, а льва — в ребёнка, о Еве с Лилит, о чистом знании, о радужных и кристальных детях, о просветлении и об Иалдаваофе наконец, она мало что поняла, но выслушала, а перед окончанием беседы улыбнулась и пожелала выздоравливать, и он улыбнулся в ответ, и впервые вина отлегла, впервые ему стало себя жаль, жаль до слёз, ведь он был не идиотом, он был маленьким мальчиком, который оказался слишком хрупким для всего, что на него навалилось, для всего, что он сам на себя взвалил. Ведь боль была настолько сильной, настолько разрывающей, что он поверил во всё, что только можно было поверить, чтобы хоть что-то, хоть кто-то его спас, но… Но запутался и переверил.

— Может, и не прочь. Но это не животное что-то.

Иван загорелся идеей сводничества — столько жизни он в ней усмотрел! Средь решёток, тикающих глаз, пелёнок и шепелявых

стариков он решил соединить сердца! За решением последовал план действия: нарвём листьев с тополя, как раз до него можно дотянуться, обвяжем туалеткой и — букет! Отправим гонца с посланием, Дядя Дима как раз с палочкой и слуховым аппаратом ходит, самый подходящий вариант, и память у него, наверняка, выдающаяся, слово в слово передаст, сколько ему там — восемьдесят шесть? На обходе притворимся задыхающимися, а как только подбежит, упадёт на колени, прохрипим: «Умираю… Не могу… Вы так красивы, я не могу, умираю!» После этого их бы отправили в изолятор, но в изоляторе выдают телефон на четыре часа, не то, что здесь, в этом отрезанном от внешнего мира, мёртвом отделении. Иван поподкалывал Мишу ещё некоторое время и перешёл на что-то более-менее приемлемое: давай подарим ей твою раскраску? Не всю, конечно, лист-два, и ты скажешь, что, подбирая цвета, думал о ней — поэтому они и бледно-розовые, бежево-лиловые? Миша засомневался в том, что Иван имел успех у женщин, если бы имел, такого бы не советовал, но и Ивана понять можно — условия-то какие? Как в них остроумно пошутить, чтобы шутку не приняли за развивающийся бред? Подумали, что можно посоветовать что-нибудь почитать, что-нибудь с сокровенным смыслом, передумали, мало где истории любви были счастливыми, а так их в суицидальных мыслях начнут подозревать. Может, не стоит с чего-то романтического начинать — завязать контакт хотя бы дружеский? Показалось наиболее здравым, чем все предложения до этого.

— Ну, дружбу явно легче заводить. Давай ей хотя бы на Вальку пожалуемся, скажем, тип, ворует ручки и сканворды, вы за ним присмотрите.

— Или, может, на жалость надавим? Расскажем чё-нибудь из детства, чё-нибудь светлое такое, трогательное. Про котят.

— Или бабушку.

— С котятами.

Планы строились, но не воплощались, Владислава Алексеевна была недоступной, да и Мишин интерес был к ней трогательным, котячьим, он был ей скорее благодарен, ничего от неё не хотел, просто радовался, когда проходила мимо со своим рисом в пластиковом контейнере. Иван обижался на Мишину нерешительность, для чего он продумывал всевозможные варианты приближения-сближения — чтобы хоронить их? Иван обижался, но не ругался, заставить Мишу действовать силой он не мог, поэтому думал, думал и решил подать образцово-показательный пример. «Скучно же, а так хоть повеселее будет» — подписал он приговор их с Мишей приятельству.

— То есть как на свидание?

— Ну не прямо на свидание, на встречу, скорее. Я как раз выписываюсь сегодня-завтра, ну и… Позвал.

— И она согласилась?

— Не согласилась, но посмеялась. А если посмеялась, это, считай, согласилась. Она же понимает, что я нормальный — не сплю просто, не что-то у меня там не в порядке, — «не то, что у меня». — Я тебе напишу потом про всё.

Ивана выписали завтра утром, за ним приехала его тётя, в которой Миша рассмотрел поклонницу. Как только Мише выдали телефон, выдавали его на выписке, он заблокировал Ивана, не потому что был на него зол, а потому что не хотел ничего знать о Владиславе Алексеевне. Даже если бы не блокировал — не узнал бы, она не пришла и прийти не могла, у неё был молодой человек, который через пару лет должен был стать её мужем, у них бы родился ребёнок, который бы в двадцать два лёг бы в палату номер шесть на лечение от депрессии. Миша, к тому моменту уже Михаил Сергеевич, проректор одного из ведущих архитектурных ВУЗов Москвы, удивился, если бы ему передали, что один из его студентов вчитывается в начёрканный гелевой ручкой под подоконником моностих: «жизнь — Эдем, а я — изгнанник». Он удивился бы и добавил: «С ним всё будет хорошо, я уверен. Я знаю». Был человек в земле Уц, имя его…

(Продолжение следует)

Дамир ХАНИФУЛЛИН
Сценарист, драматург, фотограф. Автор тг-канала «Чак-чак паланик». Закончил казанское театральное училище и сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Резидент «Переделкино». Победитель конкурса пьес эпохи 90-х «Зачем я это помню?» в 2021 с пьесой «Книга кодов и прохождений». Пьеса затем шла в Екатеринбурге. Также попадал в шорт-лист программы Fringe «Любимовки» в 2023 году с пьесой, написанной с помощью нейросети.

БАРАК

(киноповесть)

1999 год

1. ЗА ГАРАЖАМИ. ДЕНЬ

Мимо гаражей проходит Барак — толстый мужчина, одетый в старую потертую одежду. На вид ему сложно дать определенный возраст — где-то между тридцатью и сорока годами. Все движения его грубы, неуклюжи. В руках он держит коробку, в которой лежит всякий мусор.

Между гаражей лежат несколько банок из-под краски.

Барак замечает их.

Он откладывает коробку, вытаскивает банку и бьет камнем по крышке.

Опускает палец в банку. Палец окрашивается в цвет краски.

Барак задорно смеется. Он выливает содержимое на руки и размазывает по коже.

Краска растекается по земле большим пятном.

2. ПОДЪЕЗД. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА. ДЕНЬ

Шестилетний Расул стоит на цыпочках, пытается что-то разглядеть в окошке над почтовыми ящиками.

Сверху долетает шарканье чьих-то шагов.

Расул поднимает голову, прислушивается, после снова смотрит в окно.

На скамейках сидит компания ребятишек.

Расул следит за ними.

За его спиной раздается шорох. Он оборачивается.

Перед ним, на ступеньках, стоит Барак.

Барак мычит мальчику, тянется рукой.

Расул пугается и с криком бежит вниз по ступеням, толкает дверь подъезда.

3. ДВОР ВОЗЛЕ ДОМА

Расул выбегает из подъезда.

Мальчишки смотрят на Расула, обмениваются фразами, смеются и идут к нему.

Расул оглядывается назад — из подъезда выходит улыбающийся Барак.

Расул бежит навстречу ребятам.

«Эй, чурка!» кричит один из пацанов по кличке Малой, старше Расула на год. Затем все подхватывают «Чурка-чурка!»

Мальчишки окружают Расула, начинают толкать его, бить, он падает на землю, плачет.

Из толпы ребят выходит Виталик десяти лет от роду.

ВИТАЛИК. Атас, пацаны, Барак смотрящий!

Виталик показывает пальцем на Барака, ребятня смеется.

За всем этим наблюдает Барак.

4. КВАРТИРА ЛЮДЫ. ВЕЧЕР

Расул сидит на стуле. Лицо его в синяках. Перед ним стоит Люда, его мама, ей нет и тридцати. Она обрабатывает сыну раны.

ЛЮДА. (*вздыхает*) Ой, горе ты мое луковое. Не мог палку в руки взять?

Расул гордо молчит, задумчиво смотрит на Люду.

РАСУЛ. Мам, а кто такой Барак?

Люда наливает на ватку спирт, затем прикладывает к ране на лице мальчика.

Расул морщится.

ЛЮДА. Терпи, ты же мужчина.

РАСУЛ. Мам, ну ответь.

ЛЮДА. Барак — это дом, в котором мы живем.

РАСУЛ. Нет, я слышал, как мальчишки называли «Бараком» одного мужика.

Люда убирает вату от лица мальчика.

ЛЮДА. Это дурачок местный. Но ты не вздумай над ним смеяться.

РАСУЛ. А я и не смеюсь.

Люда целует его в лоб.

ЛЮДА. Завтра я поговорю с этим Виталиком.

5. ПОДЪЕЗД. ДЕНЬ

Расул смотрит в окно.

Во дворе Люда стоит перед Виталиком и ребятами. Она что-то им объясняет, Виталик виновато смотрит себе под ноги.

Люда оборачивается на подъезд, Виталик и ребята кивают, после чего Люда направляется к дому.

Люда заходит в подъезд, Расул сбегает навстречу к ней.

ЛЮДА. Всё, иди, не будут они тебя больше трогать.

Люда поднимается по ступеням, Расул провожает ее взглядом и смотрит во двор через открытую дверь подъезда.

6. ДВОР ВОЗЛЕ ДОМА. ДЕНЬ

Расул выходит из подъезда и подходит к горке, не бросая взгляда на ребят.

Виталик подходит к Расулу.

ВИТАЛИК. Расул, мир?

Расул недоверчиво смотрит на Виталика, потом спрыгивает с горки и протягивает руку.

РАСУЛ. Мир.

7. ДВОР ВОЗЛЕ ДОМА. ДЕНЬ

Расул, Виталик и компания сидят на гаражах, жуют семечки из кулька и смеются, листая разорванный на части журнал эротического содержания.

МАЛОЙ. Атас, пацаны, Барак идет!

К гаражам медленно шагает Барак. Ребята поднимаются, отряхиваются и начинают кричать и свистеть.

ВИТАЛИК. Э, Барак, айда к нам!

Барак в ответ машет руками и мычит.

Виталик отклоняет голову назад и плюет в сторону Барака. Плевок падает у ног Барака, он мычит, а ребятня смеется.

ВИТАЛИК. (*весело*) Пацаны, гасим Барака!

Все начинают плеваться в Барака, кроме Расула.

Барак мычит, в него попадают плевки, он размахивает руками, но увернуться не может.

Виталик смеется. Расул толкает его в спину, и тот чуть не падает.

ВИТАЛИК. (*резко*) Ты оборзел? Это же Барак, он чучело!

РАСУЛ. Не трогай его, он больной!

Виталик сталкивает Расула с гаража, тот падает на землю перед Бараком.

ВИТАЛИК. Гасите чурку!

Пацаны выбирают своей целью Расула. Расул встает и прикрывает голову руками. Он поднимает с земли камень и замахивается на Виталика.

РАСУЛ. (*яростно*) Я кину сейчас!

ВИТАЛИК. Рассос, пацаны!

Ребятня разбегается по сторонам и спрыгивает с гаражей. Расул и Барак остаются вдвоем.

Барак подходит к Расулу, мычит ему и тянется рукой.

Расул прижимается к гаражу спиной.

РАСУЛ. Не подходи ко мне!

Барак подходит вплотную, улыбается и проводит рукой по лицу Расула. Барак достает платок и дрожащими руками вытирает лицо мальчика.

Камень падает на землю.

Расул испуганно наблюдает за Бараком.

Барак убирает платок, достает ключи и открывает дверцу гаража. Расул смотрит на Барака. Барак с кривой улыбкой на лице хватает мальчика за руку и тащит в гараж. Расул кричит.

Они оказываются в гараже. Барак закрывает дверь и уходит в темноту гаража.

Расул начинает бить кулаками в железную дверь.

РАСУЛ. Мама, мама! Помогите!

В гараже загорается свет. Барак мычит.

Расул оборачивается и видит перед собой улыбающегося Барака. На его вытянутой ладони стоит маленький деревянный конь, а за спиной целый стол, заставленный деревянными поделками.

8. КВАРТИРА ЛЮДЫ. НОЧЬ

Расул выходит из туалета. Бачок в унитазе шипит от воды.

Расул закрывает за собой дверь. Останавливается в коридоре, прислушивается.

Подходит к входной двери, прислоняет ухо.

По этажу разносится детский скулеж.

Расул приподнимается на цыпочках и поворачивает щеколду. Открывает дверь.

На этаже возле двери сидит плачущий Виталик.

Расул выходит за порог.

РАСУЛ. Ты чего?

Виталик поднимает голову. Лицо красное от слез.

ВИТАЛИК. Папа пьяный, домой не пускает.

Расул подходит к Виталику.

РАСУЛ. Пойдем ко мне домой.

ВИТАЛИК. А твой папа не будет ругаться?

РАСУЛ. У меня нет папы, только мама.

9. КВАРТИРА ЛЮДЫ. НОЧЬ

Расул спит на кровати. Полоска света падает ему на лицо. Он открывает глаза и прислушивается.

Люда разговаривает с мужчиной.

Виталик храпит на соседней кровати.

Расул свешивает ноги с кровати и на цыпочках подходит к двери, смотрит в дверную щель.

В комнате стоит Галиб, суровый загорелый мужчина. Ему тридцать, но волосы уже с проседью. Перед ним Люда. Галиб держит проводной телефон в руках, изредка поглядывает в окно.

Люда сидит на письменном столе, курит.

ЛЮДА. (недовольно) Ну, и каким ветром тебя?

Галиб набирает номер.

ГАЛИБ. Затаиться мне надо.

Прикладывает трубку к уху, слушает, затем кладет ее на телефон и матерится на своем языке.

ЛЮДА. Только не вздумай у нас.

Галиб убирает телефон в сторону, смотрит в окно.

ГАЛИБ. Нужен мне твой зиндан.

Люда тушит бычок и склоняет голову.

ЛЮДА. Ну простите, товарищ джигит! Ты же сына всем обеспечил! Ребенку в школу на будущий год, одеть нечего, всё в обносках ходит…

Галиб отходит от окна.

ГАЛИБ. Ладно, кончай муйню разводить. Дело к тебе есть.

ЛЮДА. (отворачиваясь) Даже слышать не хочу!

Галиб подходит к ней близко.

ГАЛИБ. Мне срочно надо кое-что сбросить, потом получишь денег.

Расул смотрит одним глазком.

Люда скрещивает руки на груди.

ЛЮДА. (*утомленно*) Слушай, Галиб, хватит! Уходи, прошу тебя. Сына моего разбудишь.

Галиб смотрит ей в глаза.

ГАЛИБ. (*сквозь зубы*) Он мой сын! Понятно тебе, дрянь?

Люда отводит взгляд.

ЛЮДА. Только ты об этом редко вспоминаешь.

Галиб смотрит в сторону комнаты Расула.

ГАЛИБ. Ты по-хорошему не понимаешь?

Галиб хватает ее за плечи. Люда убирает ее руки.

ЛЮДА. Только тронь меня!

ГАЛИБ. (*презренно*) Нужна ты мне! Пойду к сыну.

35 Галиб делает шаг в сторону, Люда хватает Галиба за куртку.

ЛЮДА (*нервно*) Оставь его!

Галиб крутит пальцем у виска.

ГАЛИБ. Ты дура?

Расул бежит в кровать и притворяется спящим. Галиб открывает дверь, смотрит на сына, потом на Виталика, закрывает дверь. Осматривает комнату. Садится перед Расулом на корточки, достает из куртки пакет и прячет под кроватью.

Встает.

ГАЛИБ. Будь мужчиной по жизни, Расул. Бисмилляхи, Рахмани, Рахим.

Люда открывает дверь.

ЛЮДА. (шепотом) Уходи, Галиб.

Галиб смотрит на сына и выходит из комнаты. Люда смотрит на сына и закрывает дверь.

ГАЛИБ. (кивает на дверь) Ты че второго родила?

ЛЮДА. Это соседский мальчик. Ему тоже с папашей не повезло.

Расул открывает глаза, смотрит на Виталика. Тот спит на боку.

Расул закрывает глаза.

10. КВАРТИРА ЛЮДЫ. УТРО

Расул просыпается. Свешивает ноги с кровати и трет глаза.

Виталик ворочается.

Расул открывает дверь. Люда спит на диване.

Мальчик садится у кровати и достает пакет. Открывает. На дне лежит пистолет. Он достает его.

Виталик поворачивается, открывает глаза, замечает пистолет в руках Расула.

ВИТАЛИК. Ух, ты!

Расул прячет пистолет за спину.

Виталик садится к нему.

ВИТАЛИК. Дай посмотреть!

РАСУЛ. А ты больше не будешь меня обижать?

ВИТАЛИК. Даю слово пацана.

Расул протягивает ему пистолет. Виталик берет оружие в руки, рассматривает.

ВИТАЛИК. (восхищенно) Ни фига себе, сказал я себе. Он настоящий. Откуда у тебя?

РАСУЛ. Ночью папа приходил, оставил мне.

ВИТАЛИК. Ты же сказал, что его нет?

РАСУЛ. Его нет, но он приходил.

Расул вырывает пистолет у Виталика, и оружие с грохотом падает на пол.

Мальчики смотрят на дверь. Расул подкрадывается и смотрит за мамой.

Люда спокойно спит.

Виталик поднимает пистолет.

ВИТАЛИК. Надо его спрятать, пока твоя мама не нашла.

РАСУЛ. А куда?

11. ЗА ГАРАЖАМИ. УТРО

Расул и Виталик идут вдоль гаражей. Пакет в руках у Расула. Виталик останавливается возле гаражей.

ВИТАЛИК. Дай сюда.

Расул протягивает ему пакет.

Виталик кладет пакет в кучу мусора между гаражами и прикрывает это место кирпичом.

ВИТАЛИК. Ну все, затарили.

РАСУЛ. И что теперь?

Виталик хватает Расула за плечи.

ВИТАЛИК. (*серьезно*) Дай слово пацана, что никому не расскажешь о нашем тайнике!

Расул напрягается.

РАСУЛ. Даю слово пацана.

ВИТАЛИК. Клянешься сердцем матери?

РАСУЛ. Клянусь сердцем матери.

Виталик протягивает руку Расулу.

ВИТАЛИК. (*улыбаясь*) Теперь я тебя посвятил в пацана!

12. ГАРАЖ БАРАКА. ДЕНЬ

Барак раскрашивает деревянную фигуру человека.

Грубыми движениями он макает кисть в банку с краской и проводит по фигуре.

Расул играет с деревянной лошадкой на столе.

РАСУЛ. Барак, а у тебя есть папа?

Барак улыбается и мычит.

РАСУЛ. У меня тоже нет. Но ты не бойся, я теперь смогу тебя защитить. Больше тебя никто обижать не будет.

Расул весело хлопает в ладоши. Краска разлетается по гаражу.

РАСУЛ. А почему ты не можешь говорить?

Барак проводит кистью по фигуре и кладет ее в банку.

Он мычит Расулу и бьет себе по груди.

РАСУЛ. (*испуганно*) Ты чего?

Барак расстегивает куртку и обнажает шею. На горле грубый шрам.

РАСУЛ. Ни хера себе, сказал я себе. Это тебя твой папа?

Барак промычал в ответ.

РАСУЛ. Мама сказала, что ты дурачок.

Барак громко шлепает губами. Расул заливается смехом.

РАСУЛ. А как тебя зовут? Я — Расул. Расул. А ты?

Барак издает звук, похожий на слово «Барак».

РАСУЛ. Ну, это я и так знаю. А настоящее имя?

Барак неуклюже запихивает ладонь к себе в карман и достает паспорт.

Расул берет в руки.

РАСУЛ. (*разочарованно*) Но я не умею читать… (*Пауза*) Точно, я маму попрошу.

Барак улыбается.

РАСУЛ. А ты сиди здесь и никуда не уходи. Не бойся, я тебя защищу!

Расул выбегает из гаража.

Барак мычит, смотрит на банку, там почти пусто, он переворачивает ее, остатки краски стекают на пол.

13. ДВОР. ДЕНЬ

Расул идет через двор к подъезду.

У подъезда стоит милицейская машина. Рядом мужчина беседует со старушкой. Расул проходит мимо.

МЕНТ. Тагирова Людмила Владимировна вам знакома?

ЖЕНЩИНА. Ну да, а вот сын ее.

Мужчина поворачивается к Расулу.

Расул смотрит на него и бежит в подъезд.

14. ДВОР. ДЕНЬ

Виталик залезает на гаражи. Ребятня кучно сидит.

ВИТАЛИК. (*задорно*) Пацаны, у меня такое есть!

МАЛОЙ. Че у тебя есть?

ВИТАЛИК. (*довольный*) Ща покажу.

15. КВАРТИРА ЛЮДЫ. ДЕНЬ

Люда водит утюгом по одежде. Раздаются глухие стуки. Люда откладывает утюг.

Открывает дверь.

В квартиру забегает Расул.

РАСУЛ. Атас, мама, там тебя спрашивают менты!

ЛЮДА. (*испуганно*) Господи, откуда ты нахватался? Ладно. Сиди в комнате!

Расул убегает в комнату.

В дверь громко стучат.

Люда смотрит в глазок.

ЛЮДА. Кто там?

АЛЕКСАНДРОВ. (*из-за двери*) Откройте, это милиция.

Люда прислоняется к двери, задумывается, затем открывает.

У порога стоят двое ментов. Александров и тот мужчина, что стоял возле подъезда, в руке он держит папку.

ЛЮДА. (*взволновано*) Добрый день…

Опер раскрывает перед ней удостоверение.

АЛЕКСАНДРОВ. Старший оперуполномоченный Александров. Галиб Тагиров вам кем приходится?

ЛЮДА. Он мой муж. Бывший.

16. КВАРТИРА ЛЮДЫ. ДЕНЬ.

Люда сидит на диване. Перед ней сидит Александров. Мент что-то записывает, сидя за столом и с любопытством осматривает комнату.

АЛЕКСАНДРОВ. А кто собственник квартиры?

ЛЮДА. Это квартиры моей мамы. Мы здесь недавно живем.

АЛЕКСАНДРОВ. И что, Галиб вам совсем не помогает?

ЛЮДА. Мне такой помощи не надо.

МЕНТ. (*резко*) Когда в последний раз его видели?

ЛЮДА. Полгода назад. Он у себя дома редко появлялся, потом мне надоело, и я ушла.

МЕНТ. (*улыбаясь*) И как же вас угораздило свою жизнь связать с таким человеком.

ЛЮДА. (*напряженно*) Намекаете на то, что он нерусский?

Расул сидит у двери и подслушивает.

Александров одаривает помощника красноречивым взглядом.

АЛЕКСАНДРОВ. Он имел в виду, что ваш муж, простите, бывший муж, опасный человек.

ЛЮДА. (*смотрит в сторону*) В наше время вообще жить опасно.

АЛЕКСАНДРОВ. Люда, мы не шутим. Галиб вчера был задержан.

ЛЮДА. (*настороженно*) А что он сделал?

Опер поворачивается к менту. Мент открывает папку.

МЕНТ. Галиб подозревается в заказном убийстве. Жертва была убита из пистолета Макарова. Галиб успел избавиться от оружия, прежде чем мы его схватили.

Расул открывает рот от удивления.

Люда закрывает лицо руками.

АЛЕКСАНДРОВ. (*настороженно*) Люда?

В комнату врывается Расул.

РАСУЛ. (*громко*) Мам, мам, можно мне пойти погулять?

Люда смахивает слезы с лица.

ЛЮДА. Конечно, сынок, иди.

Менты смотрят на Расула, затем переглядываются.

Расул хлопает дверью.

Люда сидит, склонив голову. Она прячет взгляд. Александров смотрит на нее.

АЛЕКСАНДРОВ. Люда. Расскажите нам всё.

Люда кусает нижнюю губу. Менты смотрят на нее.

ЛЮДА. Он был здесь вчера ночью…

17. ЗА ГАРАЖАМИ

Виталик и ребятня приходят к тайнику. Виталик садится на корточки, убирает кирпич и достает из пакета пистолет.

Виталик вертит пистолет на пальце, как ковбой.

Дети воют от восхищения.

ВИТАЛИК. Он настоящий, пацаны. И он мой.

МАЛОЙ. Виталь, Виталь, дай пострелять, будь пацаном.

С противоположный стороны медленно плетется Барак с коробкой. Виталик замечает его.

ВИТАЛИК. Ща, постреляем, без базара.

Дети оборачиваются и тоже видят Барака. Раздаются смешки.

ВИТАЛИК. Погнали!

Виталик идет навстречу Бараку, дети следуют за ним.

Барак подходит к груде мусора, откладывает коробку и зарывается руками в мусор.

ВИТАЛИК. Барак!

Барак поднимает голову и улыбается.

Ребятня окружает Барака. Виталик выходит вперед.

ВИТАЛИК. (*весело*) Э, Барак, айда поиграем?

Барак смеется.

ВИТАЛИК. Пацаны, держите его, а ты, Малой, ложь ему банку на голову. Я такое в кино видел.

Малой застыл на месте с открытым ртом.

ВИТАЛИК. Ну, че встали? Айда быром!

Малой кладет ему на голову банку из-под краски. Другие ребята хватают Барака за руки. Барак стоит на месте. На его лице улыбка.

Виталик с трудом заряжает оружие, закрывает левый глаз и наводит пистолет. Его руки трясутся.

Мальчики наблюдают за этим с улыбкой, но затем их лица бледнеют.

МАЛОЙ. (*тихо*) Виталик…

Ребята отпускает Барака и разбегаются в стороны.

Виталик дергается и стреляет.

18. КВАРТИРА ЛЮДЫ. ДЕНЬ.

Менты и Люда слышат выстрел.

Опер бросает к окну.

ЛЮДА. (*испуганно*) Расул!

19. ЗА ГАРАЖАМИ. ДЕНЬ.

Расул выбегает из-за гаражей.

РАСУЛ. (*тихо*) Барак…

Банка с краской падает на землю. Краска разливается по земле. Следом, качнувшись, падает Барак.

Виталик дрожащими руками опускает дымящийся пистолет. Все молчат.

Виталик поскуливает, пытается что-то сказать.

Расул кричит, поднимает с земли палку и бежит к Виталику. Он замахивается на Виталика, тот сгибается пополам.

Расул рычит, кряхтит и наносит удар за ударом.

Дети убегают в противоположную сторону. Виталик и Расул остаются вдвоем.

Виталик закрылся руками. Лицо в крови.

Расул кричит и бьет Виталика.

Со спины Расула хватают. Он плачет. Его держит в руках Александров. Потом плачущая Люда хватает Расула и прижимает к себе.

Мент поднимает с земли ревущего Виталика.

Александров склоняется над Бараком.

20. ДВОР ВОЗЛЕ ДОМА. ВЕЧЕР

Тело Барака погружают в повозку.

Бабки шепчутся на лавках.

21. ДВОР ВОЗЛЕ ДОМА. ВЕЧЕР

Александров и мент курят возле машины.

На заднем сиденье сидит поникший Виталик.

Люда подходит к ментам.

ЛЮДА. (*кивает на Виталика*) Что теперь ему грозит?

Мент протяжно выдыхает дым и смотрит на Люду.

МЕНТ. А ничего. С нашими законами максимум в психушку на учет.

ЛЮДА. У него отец алкаш. Жалко мальчика.

АЛЕКСАНДРОВ. (*указывает на скорую*) А его некому пожалеть.

ЛЮДА. У него никого нет?

Александров качает головой.

МЕНТ. Паспорт оказался не его. Не знаю, может, на улице нашел. И живет он не в этом доме.

ЛЮДА. А где?

АЛЕКСАНДРОВ. Это и нам интересно.

ЛЮДА. А мне что-то грозит? Не себя, сына жалко…

Александров стряхивает пачку и мнет ее в руке.

АЛЕКСАНДРОВ. Растите сына.

Люда кивает, опускает взгляд и медленно уходит к подъезду, затем она разворачивается.

ЛЮДА. Видела как-то, что этот Барак из гаража выходил.

Опер задумчиво смотрит в сторону гаражей.

22. ГАРАЖ БАРАКА. ВЕЧЕР

Мент и Александров открывают гараж Барака. Включают свет.

Осматривают помещение.

Опер подходит к столу, смотрит на поделки Барака и берет одну в руки. Это маленькая деревянная фигура, похожая на Барака.

Мент и Опер удивленно смотрят друг на друга.

АЛЕКСАНДРОВ. Скажи, что ты тоже ничего не понимаешь?

Мент качает головой.

23. ДВОР ВОЗЛЕ ДОМА. ДЕНЬ

Год спустя.

Расул идет вдоль дома с хлебом в пакете.

Во дворе ребятня обижает мальчика.

Расул останавливается. Аккуратно кладет пакет на землю.

Поднимает ветку и бежит к ребятне

РАСУЛ. (*кричит*) А ну пошли, шакалы!

Мальчишки разбегаются.

Расул кладет ветку и начинает стряхивать землю с мальчика.

РАСУЛ. Ну чего ты, дал бы им палкой.

МАЛЬЧИК. (*стыдливо*) Я не умею.

РАСУЛ. Я тоже раньше не умел. Как тебя зовут?

МАЛЬЧИК. Игорь.

РАСУЛ. Игорь, если тебя будут обижать, скажи мне, я в этом доме живу.

Игорь кивает.

Расул достает из кармана деревянного коня и протягивает мальчику.

РАСУЛ. Возьми эту игрушку, это мой талисман.

МАЛЬЧИК. Ты навсегда отдаешь?

РАСУЛ. Да, мне он больше не нужен, я уже в школу хожу.

Мальчик сжимает фигурку в руке и улыбается Расулу.

Конец

Федор ИЛЬИН (1873–1959)

Российский, затем советский врач-гинеколог, ученый-педагог, заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР, русский советский писатель-фантаст. Родился в Санкт-Петербурге, служил в Варшаве и на Дальнем Востоке, участвовал в обороне Порт-Артура. Исследовал рак, одним из первых применил для лечения этой болезни рентгеновские лучи. В 1920 г. переехал в Баку. В 1938 г. потерял зрение. Публиковал морские рассказы, автор антиутопии «Долина новой жизни».

НА ГРАНИ ДВУХ СТОЛЕТИЙ

Глава I

Глава II

ГЛАВА III

Лошади у Базанова были прекрасные, его тройка славилась на весь уезд. Коренник — сивый в яблоках, крепкий, с широким крупом мерин. Пристяжные — тонконогие, нервные кобылицы масти воронова крыла. Когда удалой ямщик, лихо избоченившийся на самом краю козел, прикрикнет, сивый берет крупной рысью, а вороные выгибают шеи в обе стороны почти к самой земле и пускаются вскачь. Загляденье! Прохожие останавливаются и с восторгом смотрят вслед. Экипаж особой системы — ни коляска, ни тарантас на дрогах. Под кузовом — резиновые буфера, для скверных дорог нет ничего лучше: трясет мало и прочность большая, не то что рессоры.

К имению ведет аллея высоких берез. Она посажена еще дедом Базанова и тянется на двенадцать верст. Белые стволы, как мраморные колонны, ограждают дорогу справа и слева, а длинные, толстые ветви, покрытые густыми листьями, сплетаются над головами проезжих. Тенисто, прохладно!

— Эх, миленькие!..

Лошадей понукать не надо. Песок и комья засохшей грязи хлещут в железные крылья над колесами. Экипаж качает. Могучие деревья мелькают, как частокол. Сергей Николаевич с любопытством посматривает на пышные зеленые луга, на перелески, на извивающуюся, как змея, речушку, на холмы, на сухие сосновые

боры и думает: «Кому достанется всё это богатство? Была целая вотчина. А что осталось теперь?»

Представитель старого рода заметил:

— Погода всё время жаркая. Рожь поспела раньше времени, выколосилась, того и гляди, осыпаться начнет. Жать надо.

Военный инженер подумал: «А ты вот целую неделю отсутствовал, и не по делам, а просто так. За женщинами волочился. Хорош хозяин!»

— Надо торопиться. Время упустишь — и не поймаешь. У нас природа капризная. Сегодня солнце светит, а завтра дождь пойдет, и как зарядит, так до заморозков. В нашей губернии хозяйство трудное. Урожай бывает редко, недороды частые. Положение помещика тяжелое. Казалось бы, дворянский банк должен был помочь. Не тут-то было, полезай в петлю к кулакам или ростовщикам.

Сергей Николаевич слышал всё это не раз, был не согласен, но вступать в спор не хотелось. Какой толк доказывать, что виновато само дворянство: не сумело приспособиться к условиям новой жизни. Купцы, торговцы, заводчики процветают, а помещики разоряются.

По сторонам дороги развертываются пейзажи один другого краше. Яркие лучи солнца проникают сквозь листву аллеи. Жаркие блики обжигают.

— Это ваши владения? — спросил Сергей Николаевич.

Петр Георгиевич машет рукой.

— Давно всё перешло к мужикам. У меня осталась только усадьба, да и та разваливается. Пришлось построить небольшой флигель. Пахотной земли немного. Поёмные луга хорошие да несколько десятин леса. Хочу всё бросить и перебираться в город, в столицу. Давно пора, но вот, скажите — привязанность к земле!.. Отцы, деды здесь жили. Трудно расстаться, да и хорошего покупателя нет. Если бы сразу крупную сумму получить — с долгами бы разделался. И на новом месте мог бы хорошо устроиться.

Полуразрушенные каменные столбы от бывших ворот остались позади. Дорога сделалась ровней. По бокам тянулась ограда, за нею виднелись аллеи старинного, запущенного сада.

— Ну, вот и приехали.

Лошади вынесли экипаж на просторный, открытый двор, весь заросший высоким бурьяном. Дороги пересекали его, подходя с одной стороны к большому двухэтажному дому с колоннами посредине, а с другой — к веселому деревянному домику с мезонином и с башенкой странного архитектурного вымысла. Подальше, закрывая вид на поля, темнели постройки конюшен, сараев, людских, и на отлете стояла большая рига.

Сергею Николаевичу сразу бросилось в глаза отсутствие порядка, запущенность, неряшливость, выступавшие отовсюду. Только флигелек и куртины около него составляли исключение. Туда именно и подкатила тройка.

Базанов ввел инженера в гостиную. В небольшой комнате было светло, но как-то пусто и неприветливо: крашеные полы под большим столом и буфетом. Петр Георгиевич извинился и просил обождать его. Шаги его послышались где-то в отдаленных комнатах. Потом он появился на веранде. Послышались голоса, но что говорилось, нельзя было разобрать. Опять раздались шаги хозяина, они то приближались, то удалялись. От нечего делать гость подошел к окну. Он увидел перед собою куртины, засаженные разнообразными цветами, и сейчас же за ними — небольшую оранжерею. Справа от себя на веранде он заметил девушку, она сидела в кресле с книгою в руках, но не читала. Лицо её казалось красивым, но очень бледным. Тоска застыла на нём. Сергей Николаевич не хотел, чтобы его заметили, он сделал несколько шагов назад. В дверях показалась босая деревенская девушка с низко натянутым на лоб платком; она оглядывалась.

— Барин послал за вашими вещами, а где ж они?

За ней высунулась голова пожилой толстой женщины. Она приглушенным голосом кричала:

— Дуняшка, Дуняшка! Эва, глупая, подь сюды. Чемоданы, подушки здеся.

Петр Георгиевич вошел, смеясь.

— Я вижу, пока распоряжался, здесь что-то напутали «камеристки» моей жены. Прошу вас в вашу комнату. Там вы можете

переодеться, освежиться и, если желаете, отдохнуть. Ехать по жаре четыре часа было утомительно.

Хозяин дружески взял офицера под руку и по узеньким ступенькам крутой лестницы отвел его в мезонин. Когда дверь за хозяином закрылась, инженер осмотрел отданную в его распоряжение горенку. Помещение было маленькое, довольно низкое, но обставленное так, что сразу можно было сказать о его предназначении для приезжих. Дуняша втащила чемодан и перевязанную ремнями постель, поставила их посредине комнаты и исчезла. Не успел офицер умыться и переодеть китель, как в комнату кто-то постучал. Опять всунулась косматая бабья голова и зашептала:

— Разрешите, батюшка, кроватку вам заправить. Может быть, с дороги приляжете. Прикажите чайку принести, а может — кваску. Квас у нас хороший, хлебный с мятою. Петр Георгиевич такой любят.

Квас оказался действительно замечательным. Холодный, он пенился и бурлил. Через открытое окно врывался ветер и приносил запахи цветов. Сергею Николаевичу захотелось прогуляться по парку, посмотреть окрестности, может быть, встретиться с красавицей-дочерью Базанова. Он чувствовал себя словно запертым в этом маленьком мезонинчике. Внизу около дома никого не было видно, по двору ямщик вел коней на водопой.

Сергей Николаевич знал, что Базанов женат второй раз. От первой жены у него была дочь. Второй брак оставался бездетным. Все уверяли, что Петр Георгиевич — плохой семьянин. И, надо думать, супруга знала про похождения своего мужа. По крайней мере, лицо ее не выражало радости по случаю приезда гостей. Она сидела внизу, на веранде, удрученная и задумчивая. Пойти вниз и столкнуться с нею, взять на себя обязанность развлекать её?..

Вдруг позади послышался голос хозяина:

— Простите, мне пришлось уладить кое-какие недоразумения… по хозяйству, — последнее слово было прибавлено после мгновенной паузы. — Теперь я хочу предложить вам пройтись по парку и посмотреть моего медведя. Его ежедневно купают в реке, и вы уведите интересное зрелище.

* * *

Старый барский дом выглядел уныло: штукатурка обсыпалась, краски потемнели, в некоторых окнах рамы были забиты досками, дверь под колоннадой оставалась открытой, и в широкой прихожей перед лестницей, ведущей во второй этаж, пахло пылью. Короткий коридорчик пересекал здание поперек. Когда задняя дверь, скрипя на блоке, распахнулась, Сергей Николаевич остановился, пораженный открывшимся видом. Широкая липовая аллея со старыми, вековыми деревьями отлого спускалась вниз, к сверкающей вдали реке. Справа и слева чередовались разных оттенков зелень, группы деревьев и блестевшие на солнце лужайки. Всё это складывалось в единую картину.

Надо думать, этот затейливый сад был некогда разбит по особому плацу, в подражание какому-нибудь знаменитому парку. Теперь он был сильно запущен: на месте некоторых лип торчали пни, всюду громоздился валежник, местами образовались непроходимые заросли. Дорожки терялись в траве, сгнившие мостики через канавы обвалились. Но даже в своем запустении парк был прекрасен!

— Когда-то здесь кипела жизнь, — рассказывал хозяин. — В зале этого дома гремел оркестр из дворовых музыкантов. На балы съезжалось дворянство со всего уезда. В комнатах второго этажа размещались гости. В билиардной стучали шары. В буфетной лилось шампанское. Освещенные окна сияли. В парке горели плошки. На реке жгли фейерверк, а по причудливо запутанным аллеям расхаживали парочки. Шепот влюбленных раздавался в тишине ночи. Деревья дремали в лунном сиянии… Всё это исчезло. Вы видите жалкие остатки прежнего величия.

Хозяин замолчал и шел вперед, словно забыв на минуту о госте под воздействием нахлынувших воспоминаний. Инженер удивлялся: тот ли это человек, которого он видел раньше? Походка, осанка и выражение лица совсем изменились. Обломок ушедшей в историю эпохи, он, быть может, — такая же музейная редкость, как и этот дом, и этот парк. А между тем хозяину не более шестидесяти лет. Выглядит он моложаво; пожалуй, ему нельзя дать и пяти десятков.

Размышления были прерваны криками, доносившимися с дороги, которая шла параллельно аллее.

— Ну, вот вам и развлечение, — остановился Петр Георгиевич.

Рыжая лошадка тащила телегу, за которой на цепи неуклюже переваливался здоровенный медведь. В телеге сидел парень и

подхлестывал лошаденку. Когда медведю не хотелось идти, он упирался, становился на дыбы, цепь натягивалась, и телега некоторое время не двигалась. Но лошадиная сила была больше медвежьей. И покоренное животное снова тащилось за телегой.

— Мы взяли его на облаве. Мать убили, а он был еще совсем маленьким медвежонком. Дочка вскормила его коровьим молоком, и вот теперь видите, каков зверь! Ему пошел второй год. Сначала он пользовался полной свободой, но несколько раз чуть не натворил бед. Пришлось посадить на цепь. Его все боятся. Смотрите, смотрите, что случилось! — прервал свой рассказ беспокойным голосом хозяин.

Медведь бросился в сторону, и телега медленно завалилась на бок. Парень кубарем вывалился, чуть ли не попав на самого зверя. Он пустился удирать вокруг лошади, параллельно пытаясь опустить колеса телеги на дорогу. Медведь рвал цепь и свирепо рычал. Испуганная лошадь била задними ногами. Петр Георгиевич бросился на помощь, за ним поспевал инженер. Он думал, что эта барская затея ему совсем не по нутру и что встреча с таким зверем где-нибудь во дворе или в саду мало приятна.

Вдруг до слуха долетел звонкий девичий голос. Стройная фигура, одетая в светлое платье, промелькнула между деревьями.

— Мишка, Мишка, Мишутка, что с тобой?

Зверь рванулся навстречу молодой девушке. Та подбежала к нему и схватила за загривок. Животное сразу успокоилось, встало на четыре лапы и обнюхивало молодую хозяйку. Нежная ручка гладила длинную шерсть.

— Наконец-то ты приехал, папа! — голос звучал укоризной. — Мы беспокоились. Надо начинать жать, а ты пропал неизвестно где.

— Дела, дела, — говорил, приближаясь к дочери, Петр Георгиевич. Он опасливо посматривал на медведя. Девушка подошла к нему, и они поцеловались.

— Пришлось начать жатву без тебя.

— Знаю, знаю.

— Зинаида Ростиславовна беспокоилась.

— Зина говорила мне. Всё улажено.

Сергей Николаевич ждал, пока его представят. Он думал: «Видно, дочь не в особенно хороших отношениях с мачехой, а девушка действительно хороша: высокая, прекрасно сложена. Волосы, как золотая корона. Цвет лица чудесный. Около этого страшного зверя она походит на Диану. Ее глаза ласковы, но они могут метать гнев. Вон, с какой укоризной она взглянула на отца».

— Позволь, Верочка, представить тебе нашего гостя. Это брат Николая Николаевича, он инженер, служит в Варшаве и теперь приехал на отдых.

Офицер щелкнул каблуками, отдал честь и потом, сняв фуражку, и, сделав два шага вперед, пожал протянутую ему руку. Кисть была длинная, узкая, но в ней чувствовалась крепость и решительность. Мишка стоял, переводя сосредоточенный взгляд с одного из разговаривающих на другого, как будто что-то соображая.

— Зачем вы мучаете моего питомца? Он не сделал никому зла. Его раздражает цепь. Он любит свободу, — произнося эти слова, девушка отцепила от ошейника цепь и бросила ее в телегу. Цепь глухо лязгнула.

— Что ты делаешь, Верочка? — в голосе отца послышалась тревога.

Военный инженер невольно попятился, стараясь отодвинуться подальше от получившего свободу зверя. Парень залез в телегу.

Своевольная красавица схватила Мишку за ошейник, и они пошли вдвоем по тропинке к реке. Там медведь полез в воду. Поднятые им брызги фонтаном сверкали на солнце. Зверь наслаждался купанием, фыркал, храпел; то лез на глубокое место и погружался по шею, то выбирался на песчаную отмель, по-собачьи отряхивался и грелся на солнышке, девушка разговаривала со своим воспитанником, и он, казалось, понимал ее. Отец и гость молча стояли поодаль на прибрежной травке и наблюдали. Наконец, Сергей Николаевич произнес:

— Не скрою, мне страшновато, когда это животное подходит слишком близко к вашей дочери. Посмотрите, какие у него зубы, какие когти. Кто может поручиться, что в нем не пробудятся дикие инстинкты?

— Медведь слушается ее, как ребенок. Ведь она вспоила и вскормила его, но, если бы я даже боялся, что я мог бы сделать? Верочка очень своенравна.

Тем временем медведь разрезвился. Он подскакивал к воде, разгребал ее передними лапами, с любопытством глядел на волны, которые расходились вокруг него в разные стороны. Потом выскочил на зеленую лужайку и начал кататься по ней. Солнце припекало шкуру, и это, как видно, доставляло ему большое удовольствие.

— Верочка окончила институт. Она любит музыку, недурно рисует, некоторые вещицы масляной краской выполнены ею с большим вкусом, — в тоне отца звучала гордость. — Ей надо продолжать изучение музыки и живописи, а она сидит в деревне и не желает ехать в Петербург к тетке, моей сестре.

Мишка громко захрюкал: девушка тянула его за ошейник, зверь упирался. Она хотела увести его домой, а он хотел продолжать купание.

— Смотрите, смотрите: он злится!

— Мы не могли бы ей помочь, ведь мы не вооружены. Но я убежден, что Верочка справится.

И действительно, медведь только капризничал. Он поплелся за своей хозяйкой, всё время оглядываясь на реку. Он повиновался, хотя это явно было ему не по душе.

Когда Петр Георгиевич предложил опять воспользоваться цепью, Верочка не согласилась. И пара — взлохмаченный зверь и его укротительница — быстро исчезла из вида.

По размытой дождями дороге медленно тащилась телега, за нею следовали гость и хозяин. Перед взором инженера всё еще стоял образ юной Дианы в развивающемся платье, с короной волос на голове, рядом со страшилищем, в пасти которого блестели белые, длинные зубы.

— У Веры Петровны, наверное, много подруг? — осведомился Сергей Николаевич.

— Она совершенно одинока. У нас поблизости нет никого, кто мог бы составить ей компанию.

— Она сильно скучает?

— О, нет! Кто так думает, тот не знает моей Веруси. Вы побудете у нас несколько дней и узнаете, как она проводит время. Это самобытное создание.

Интерес инженера к дочери помещика возрос, и он уже не досадовал, что принял предложение Петра Георгиевича погостить у него в имении.

* * *

Перед обедом состоялось знакомство с хозяйкой. Зинаида Ростиславовна оказалась скучной, больной женщиной. Она задала несколько вопросов из приличия и равнодушно выслушала ответы гостя, которые ее не интересовали и которые она явно пропускала мимо ушей. Глаза ее несколько оживились, когда разговор коснулся Варшавы. Она заметила, что в этом городе провела свою молодость. За обедом чувствовалась натянутость. Хозяйка ела немного и без всякого аппетита. Развязность Петра Георгиевича исчезла. Он говорил мало и с большой осторожностью. Сергей Николаевич чувствовал это и, не зная, что нужно скрывать и о чем можно говорить, рассказывал о Петербурге, инженерной Академии и о своей теперешней службе. Его рассказы не имели особого успеха. Молодая девушка всё время посматривала к окно, и взгляд ее уносился из этой неуютной столовой куда-то далеко. Там небо уже темнело, солнце опускалось низко. Сад наполнился сумерками и вечерней свежестью. Только верхушки высоких берез на дороге золотились в лучах заходящего солнца Огненный шар просвечивал сквозь зелень, и казалось, что там пылает пожар.

Когда обед кончился, гость облегченно вздохнул. Хозяйка и дочь исчезли. Петр Георгиевич предложил перейти в гостиную. Подали вино. Босая Дуняша поставила поднос, на нем были бутылки хереса и белого вина, а также стаканы, малина на тарелке и сахарный песок в вазочке. Сервировка за столом не отличалась особой изысканностью, то же самое замечалось и здесь: бутылки были закупорены простыми пробками, а поднос видал лучшие времена: теперь он был стёрт и погнут.

«Да, в этом “дворянском гнезде” всюду чувствуется упадок и разложение», — подумал гость.

Сергей Николаевич не отказался выпить белого, а Петр Георгиевич налил себе хереса и закурил сигару. Он погрузился в полудремоту, изредка отхлебывая глоток из стакана и выпуская изо рта струю синеватого ароматного дыма. Гость молчал, не желая нарушать его dolce farniente. Когда довольно много времени прошло в молчании, а стакан хереса был допит, Петр Георгиевич заговорил:

— К чему тянуть эту жизнь. Всё разрушается, всё падает. Починить, поддержать невозможно. Должно быть найдено другое решение. Сидеть у моря и ждать погоды — глупо. Пуститься на утлой ладье рискованно, но всё же в этом есть выход.

Сергей Николаевич понял, что эти слова обращены не к нему, а являются заключением целого ряда мыслей, и поэтому продолжал молчать. В комнате стало почти темно. Хозяин открыл глаза, провел рукой по волосам и поднялся с кресла:

— Предлагаю послушать музыку. Веруся в эти часы удаляется в свои покои в старом доме моего деда и играет на клавикордах. Да-да, не удивляйтесь, на старинных, всеми забытых клавикордах. Она любит их. И если мы не спугнем ее, то насладимся звуками.

Сергей Николаевич принял предложение с удовольствием. Дороги в потемневшем дворе среди травы четко вырисовывались. Старый дом казался еще выше и еще угрюмее, чем днем.

Дверь в парадном подъезде оставалась открытой. В мрачной тишине зал и больших комнат каждый шаг, каждое движение остро воспринимались слухом. Как заговорщики, они крались вперед, почти ощупью, через пустые комнаты, — впереди хозяин, а за ним Сергей Николаевич. Вдруг мелодичные, тихие аккорды долетели до них откуда-то издалека. Из следующей комнаты было слышно лучше. Тут Петр Георгиевич сел на что-то, чего нельзя было разглядеть в темноте, и потянул за собой инженера. Звуки ширились и росли, они бурно неслись потоком, потом боролись, переливались и падали, они замирали, и в них звучала нежность. В этой темноте, в этом старом пустом доме музыка казалась особенной, неземной. Может быть, именно клавикорды придавали ей очарование давно ушедших дней.

Музыка прекратилась. Петр Георгиевич прошептал:

— Это Шопен. Неужели она не будет больше играть?

Тишина не прерывалась ни единым звуком. Потом долетели какие-то слова, кто-то разговаривал.

— С ней Анна Ивановна, учительница из нашего села.

Эта особа обожает мою дочь. Веруся играет целые вечера, если она одна.

Разговор продолжался, и надежда на возобновление музыки исчезла. Хозяин поднялся и пошел, громко топая, по полу.

— Надо предупредить их о нашем приходе.

В комнате горела керосиновая лампа, освещая только клавикорды с открытыми на них нотами и стол. Остальная мебель пряталась в потёмках. Две женские фигуры поднялись навстречу пришедшим.

Петр Георгиевич промолвил приветливо:

— Добрый вечер, Анна Ивановна! Позвольте вас познакомить с моим гостем. Мы хотим поболтать с вами, и, может быть, Веруся поиграет.

Инженер пожал концы пальцев учительницы, которые она протянула ему, и почувствовал, что эта маленькая, некрасивая женщина не умеет здороваться и очень застенчива.

— Возможно, ты уже играла, тогда нам остается просить продолжить. Сергей Николаевич — большой любитель музыки.

— Совершенно верно. Я прошу вас! — инженер произнес эти слова не совсем уверенно, так как до сих пор считал, что искусство мало доступно для него, но сейчас он был настроен необычно. Эта девушка производила на него сильное впечатление.

— Я не умею играть по заказу, — голос у Веры был певучий, с приятным тембром.

— Садитесь, пожалуйста, — она указала на диван и кресло, покрытые чехлами. В комнате было прохладно и сыро, пахло не то грибами, не то плесенью. Сергей Николаевич осмотрелся. У дальней стены виднелась кровать с подушками на ней. Он спросил:

— Неужели, Вера Петровна, вы здесь ночуете?

— Да.

— Но, кажется, весь дом нежилой?

Петр Георгиевич вмешался:

— Он стоял много лет заколоченным. Теперь она возвращает его к жизни. Рядом поселилась ее камеристка, Устюша, она же и коровница. Веруся имеет большое расположение к сельскому хозяйству. Она сама доит коров и даже выполняет некоторые полевые работы.

Молодая хозяйка прервала отца.

— Собственно говоря, я ничего не делаю. Берусь за всё и ничего не довожу до конца.

— Едва ли допустимо, чтобы вы, музыкант, портили руки неподходящей для вас грубой работой. Вы так замечательно играете.

— Ах, вот как! Значит, вы слышали! Ах, папочка, как нехорошо, что ты подкрадываешься, подслушиваешь. Да еще приводишь с собой, — девушка подыскивала слово, — других.

Петр Георгиевич оправдывался:

— Ничего подобного, мы просто шли к тебе, звуки ведь разносятся далеко.

Сергей Николаевич старался исправить свою оплошность.

— Да-да, мы слышали издалека. Мне так бы хотелось послушать поближе. Сыграйте, Вера Петровна!

— Мои руки плохо повинуются мне, и я играю только для себя, да вот для Анюты. Она невзыскательна.

— Мы тоже не строгие критики, и ты знаешь, как я обожаю музыку, как я люблю твою игру, — с нежностью произнес Петр Георгиевич.

— Я был бы очень рад послушать, — добавил инженер.

Он смотрел на профиль молодой девушки, и ему казалось, что она должна обладать сильной волей, непреклонностью. Просить ее о

чем-нибудь, если она не желала этого, было напрасно. Отец хорошо знал характер своей дочери. Он заговорил совершенно другим тоном:

— Сергей Николаевич приехал к нам на несколько дней. Он городской житель и мало знает деревню. Как было бы хорошо, если бы ты и Анна Ивановна сводили нашего гостя в лес. Сейчас масса грибов. Да и местность на Болдырях прекрасная. Погода подходящая, устойчивая!

На лице Сергея Николаевича отразилось удовольствие. Пойти в лес с этой дикаркой ему представлялось занятным.

— И вы, Анна Ивановна, наверное, не откажетесь принять участие! — обратился хозяин к учительнице.

— Почему же. Если Вера Петровна пойдут, я с удовольствием.

— Нет-нет, завтра я занята, послезавтра воскресенье, тогда я могу пойти.

— За-анята, — протянул Петр Георгиевич,— чем ты можешь быть занята? Что за выдумки!

— Не стоит на этом останавливаться, папочка. Мне очень жаль, что твой гость поскучает, — девушка повернулась к инженеру и любезно добавила:

— Если вас развлечет прогулка, мы пойдем, но не завтра. Я буду рада показать вам наши места. Я люблю их и думаю, что они вам понравятся.

Отец хорошо знал, что настаивать бесполезно. Характер его дочери напоминал ему первую жену. Сергей Николаевич спросил:

— Вы живете здесь и зимой? — девушка не поняла вопроса.

— Да, после окончания института я приехала сюда и никуда не выезжала.

— Нет, я спрашивал, живете ли вы в этом доме? Наверное, когда ревет ветер, когда бушует снег, когда вокруг все так пусто, здесь страшно, чувствуется одиночество.

Петр Георгиевич засмеялся.

— Веруся не знает чувства страха.

Девушка серьезно произнесла:

— Иногда бывает жутко, иногда в завываниях метели слышатся какие-то голоса, вопли, стоны, но ведь всё это только фантазия. Этот старый дом, этот сад, эти поля — всё навевает какие-то фантазии, но это не страшно.

Отец добавил:

— Я тоже кое-что делаю. В доме починены печи, приведены в порядок рамы, двери. Устюша ночует здесь всегда, а зимою в комнате около кухни живет пастух, старый Прокофий, который служит у нас более тридцати лет.

Он задумался, потом продолжал:

— Все слуги старые. Устюша служила здесь, когда была девкой. Кухарка, ямщик — все состарились вместе с нами, все они были здесь, когда еще Веруся не родилась.

На лице девушки выразилось беспокойство. Она промолвила:

— Наверное, уже поздно. Я как-то не заметила времени. Если вы останетесь здесь, мы устроим чай.

Хозяин встрепенулся:

— Нас ждет Зинаида Ростиславовна.

Он взглянул на часы, извлеченные из кармана парусинового пиджака.

— Пора идти. Ты, Веруся, пойдешь с нами? — он обернулся к учительнице. — И вы, Анна Ивановна?

Та испуганно вскочила:

— Нет-нет, благодарю вас, я пойду домой. Меня ждет Федя.

Она торопилась, видно было, что предложение пойти в «коттедж», как называл свой новый дом Базанов, взволновало ее. Она распрощалась, бормоча какие-то извинения, подала свои холодные, негнущиеся пальцы и скрылась в темноте пустых комнат. Дочь

покорно встала и, отдав распоряжение дремавшей в соседней комнате Устюше, заявила, что она готова идти.

Чаепитие прошло так же вяло и натянуто, как и обед. Теперь Сергею Николаевичу было еще более заметно, что между мачехой и падчерицей существует скрытая неприязнь и что сам Базанов побаивается своей жены, а та относится к нему, если не сказать презрительно, то снисходительно, с чувством собственного превосходства. Перед тем, как лечь спать, Сергей Николаевич постоял у окна, наслаждаясь ночным воздухом, который был полон знакомых и незнакомых запахов. Поля и леса, сад и постройки — всё тонуло во мраке. Звезды искрились, млечный путь ясно выступал на безоблачном небе, и тишина как бы подчеркивалась слабым стрекотанием кузнечика и отдаленными криками совы. Пережитый день заставлял его думать: «И в этой тиши, и в этой деревне что-то беспокоящее, что-то неладное. Эта красивая девушка, отпрыск многих поколений, чувствует себя более одинокой, чем все остальные. Несомненно, она талантлива, очень оригинальна. Да и с характером; а может быть, просто капризна, избалована».

Сергею Николаевичу припомнились слова брата, что во всем уезде нет ни одного жениха, и он приосанился: «А я, разве я не завидный жених? У этого Базанова еще достаточно средств, чтобы удачно выдать свою дочь замуж».

* * *

Сергей Николаевич, одетый в русскую рубашку и высокие охотничьи сапоги, шагал по узкой проселочной дороге. Утренний холодок познабливал тело. Мокрая от росы трава хлестала по ногам. Солнце было еще не высоко и покуда почти не грело. Хорошо было здесь, среди полей и кустарников. Ароматный воздух проникал в легкие и вызывал желание глубоко дышать, двустволка на плече показывала, с какой целью вышел так рано гость Базанова. Рядом бежала охотничья собака: он чувствовал себя как на маскараде: рубашка и сапоги были хозяина, и только офицерская фуражка не уступила место широкополой соломенной шляпе. Сказывалась привычка к военной форме, рубашка с разноцветными горошинами по темно-синему полю представлялась уродливой и вызывала смущение у офицера. Но здесь, за околицей, не видно было ни одной живой души, и стесняться было некого. Когда-то давно, еще кадетом, он бродил с ружьем по окрестностям Петербурга, возомнив себя настоящим охотником, но с тех пор прошло так много времени! Юношеское увлечение было забыто, потом захватили другие

интересы. Лето проходило в лагерях, осень — на маневрах. Городская жизнь, казалось, окончательно вытравила все впечатления бродяжничества с ружьем по полям и лесам.

И вот теперь, в это раннее утро пробудилось что-то дремлющее, свежее в этом усталом человеке, ограничившем свои желания узким кругом карьеры. Он смотрел на скромные полевые цветы, на пожелтевшие уже кое-где листья, на тонкие былинки травы, на блестящие капли росы, на серые дали впереди другими глазами, глазами, которые видели что-то неуловимое, недоступное… В сердце поднялись радость и опасение, что всё это исчезнет, погаснет, и, может быть, не возвратится никогда. Маленькие птички чирикали и посвистывали: им, наверное, тоже было весело. Они пользовались каждым мгновеньем жизни. Среди зарослей ольхи маленькая речушка делала петлю.

Там послышалось кряканье. Несколько диких уток с вытянутыми вперед длинными шеями понеслись, спасаясь от пришельца, а он спохватился, когда было уже поздно.

— Эх! Ружье должно быть наготове, но я всё равно промазал бы.

Глаза сеттера Милой смотрели с укоризной. Они, казалось, говорили: «Горе-охотник!» Собака рыскала по сторонам дороги. Она не знала этого, чужого ей, человека, но ружье ясно указывало, какие на нее возлагаются обязанности, и она честно выполняла их и вовремя делала стойки. Виляла хвостом, как полагается, затем, замерев, приподнимала лапу, показывая серьезность положения. Но временный повелитель прозевал и тем самым потерял долю ее уважения.

— Собственно говоря, я отправился за куропатками. Мне говорили, что их много здесь около ржаных полей, а уток я не ожидал, — оправдывался сам перед собой Сергей Николаевич. Затем прикрикнул, неизвестно за что, на суку, — Cherche! Cherche![1]

В скором времени собака напала на след. Она принюхивалась к траве, потом делала большие скачки, что-то искала и, найдя, уверенно и быстро бежала вперед, усиленно работая хвостом. Инженер спешил и всё же иногда терял из вида Милую. Тогда та возвращалась и снова вела его, руководствуясь исключительно чутьем. Перед одной группой развесистых кустов боярышника она

[1] Фр. «Ищи!»

остановилась. Застывшая поза с вытянутой вперед головой, с приподнятой лапой, с едва шевелящимся хвостом говорила о важности момента. Сергей Николаевич взял двустволку на прицел. Курки были взведены, пальцы лежали на собачках. Сквозь прозрачную листву виднелось небо. Никакого движения, никакого шороха. В непробудной тишине застыли и собака, и охотник. Удары пульса отдавались в голове. От напряжения сводило мышцы на шее. Нельзя было больше выдержать.

— Пиль! — крикнул инженер.

Резкий звук трепещущих крыльев разорвал тишину. Два выстрела грянули тотчас же, почти сливаясь в один. Легкий дымок таял в кустах.

«Целый выводок! Черт возьми, их было не менее десятка. Неужели не свалилось ни одной?»

С такими мыслями охотник раздвинул перед собой ветви и заглянул в гущу зарослей. Собака искала лучше него. Она всем своим существом показывала, что не теряет надежды. Вдруг сука обернулась. В пасти ее была птица, маленькая головка ее безжизненно свешивалась вниз. Вскоре трофей лежал у ног Сергея Николаевича. Он ощупал еще теплое тело своей жертвы. Капли крови алели на белых перышках.

— Cherche! — повторял инженер.

Голос его теперь звучал более уверенно. Куропатка была положена в ягдташ. Милая исчезала из вида и возвращалась назад, но, увы; она не принесла больше ничего! Дальнейшие блуждания среди кустарника и по опушке перелеска ни к чему не привели. Иногда Милая бросалась вперед, почуяв след, но скоро теряла его, тогда она делала большие круги и носилась, как угорелая. Однажды далеко впереди выпорхнула стая куропаток, но они были вне выстрела. Между тем, солнце стало припекать, во рту пересохло и непривычному охотнику представлялось бесцельным путаться по местам, где не водилось дичи.

Вдруг поднялась досада на какого-то незнакомого студента Федю, брата Анны Ивановны. Он, по словам Базанова, был заправский охотник, да вот не пошел. Какие-то отговорки. Вот уже и время завтрака. С собою ничего не захвачено. Надо выбираться на дорогу. Однако сделать это было не так-то просто. Речушка куда-то

пропала. Впереди стояла стена леса, которого раньше не было видно. Поля уходили вправо, а между тем, судя по солнцу, надо было идти влево, то есть на лес. Идти куда глаза глядят, очевидно, не разумно. Надо взобраться на какую-нибудь возвышенность и осмотреться. Минуты складывались в часы. Вот только что было сломанное дерево и рядом с ним большой муравейник, но он прошел мимо них уже третий раз. Когда терпение было исчерпано, вдруг, совершенно неожиданно сквозь кусты проглянуло ржаное поле. На части его сжатой возвышались рядами сложенные в копны снопы. Дальше двигались согнутые фигуры женщин в пестрых юбках, а то и в одних холщовых рубахах. Рожь ложилась под серпами, и колосья кланялись, как будто прося пощады. Но солнце высушило их, и приспело время, чтобы вымолоченные зерна отправились в амбары и дали новую жизнь, когда их вернут доброй матушке-земле.

Женщины работали проворно. Острые серпы мелькали, солома ложилась, желтая и блестящая, как золото, и затягивалась в тугие снопы.

«Подойти и спросить. Разом всё выяснится. Вон видна дорога, а там какие-то избы».

Вид охотника привлек внимание жниц. Некоторые из них выпрямились, отерли ладонью лицо и прикрыли глаза от солнца рукой, чтобы лучше рассмотреть подходящего. Раздался радостный возглас:

— Милая! — Собака подбежала к человеку, сидящему на меже, и приветливо тявкнула.

Инженер зашагал туда. Незнакомец встал: это был почти юноша. Он был одет по-крестьянски — в лаптях, с онучами и ремнями вокруг голеней. Чистая белая рубаха с пояском и широкие штаны висели на его худом теле, как на вешалке. Русая бородка и усы слегка курчавились. Серые глаза смотрели серьезно. Он комкал в руках свою мягкую шапчонку, которую снял только что с головы, покрытой волнистыми, длинными волосами, постриженными на затылке в скобку. Говорил он застенчиво:

— Я брат Анны Ивановны. Извините, что не пошел с вами. Я пошел бы, да не мог. Сестра здесь на жнивье, а с нею и Вера Петровна. Вон они. А я принес им поснедать, да и сам помогаю, снопы складываю в бабки. Извините, пожалуйста!

Сергей Николаевич глянул в ту сторону, куда указывал студент.

Он увидал на меже высокий кувшин с топленым молоком, подернутым коричневой коркой; рядом корзинку, в которой лежали яйца, огурцы и добрая краюха черного хлеба. Подальше, около ложащейся на землю, подкошенной у корня ржи, он узнал маленькую учительницу и высокую, стройную, согнувшуюся в три погибели Диану. Нет, она теперь не напоминала какую-нибудь богиню! Высоко подоткнутая юбка моталась по голым ногам в коротких чулках. Платок на голове съезжал вперед и закрывал лицо. Федор Иванович аукнул. Все женщины оглянулись. Вера и учительница перекинулись словами и направились к меже. По дороге они оправляли свои незатейливые платья.

Поблизости стоял одинокий дуб. В тени его виднелись какие-то белые свертки. Федя объяснил:

— Там детишки. Матери работают на полосе и, когда надо, ходят кормить.

Сергей Николаевич всмотрелся. Действительно, свертки были не что иное, как спеленатые дети, прикрытые платками или тряпками, чтобы мухи не ползали по личику.

Учительница кивала головой и молча направилась к дереву. Вера остановилась.

— Вы открыли мой секрет. Я не хотела никому говорить. Папа тоже не знает. Я совсем не умею жать, и мне вздумалось попробовать. Прежде я приходила, чтобы ухаживать за малышами, а теперь я решила сама поработать. Как-то стыдно не принимать участия в общей страде.

Сергей Николаевич рассматривал стоявшую перед ним «барышню-крестьянку», раскрасневшуюся, с обгорелым от солнца лицом: «Странная фантазия — портить кожу и руки, гнуть спину, уставать от непривычного труда — и зачем?»

Его мысль, по-видимому, была угадана, потому что девушка сказала:

— Эти женщины работали на нашем поле. Они помогали нам, когда отца не было и когда надо было спешить. Мне как-то неловко не помочь им, когда они работают на своем поле. Но какая я помощница, я ничего не умею, и от этого я особенно страдаю.

Инженер хотел сказать, что-нибудь одобряющее, но не находил слов:

— Да, да, конечно. Но вы могли найти что-то другое, чем отблагодарить их. И, наконец, ведь вы платили за их работу.

Вера нетерпеливо мотнула головой:

— Все говорят то же самое, но тут такие сложные отношения. И, может быть, это трудно понять. Думайте, что это мой каприз, вот и всё.

Сергей Николаевич посмотрел на молодого студента, на импровизированные «ясли» под деревом и понял, что он здесь лишний.

Он уверил, что спешит возвратиться в имение и обещал сохранить «тайну». Его не удерживали. Взгляд Феди на пустой ягдташ, в котором болталась одна куропатка, показался Сергею Николаевичу нахальным, и вообще этот человек, влияние которого на молодую хозяйку было очевидным, ему не понравился.

«Это он, наверное, вкладывает в ее красивую головку разные нелепые мысли. Какой-нибудь революционер или нигилист, как их прежде называли. Этот пустой папаша Базанов не способен справиться ни с женой, ни с дочерью».

Инженер был так погружен в размышления, что заметил исчезновение Милой только тогда, когда оказался на дворе барского дома. Он направился прямо в свою комнату, умылся и переоделся в свой обычный военный костюм. После этого он вышел в цветник около дома и тут увидал фигуру хозяина, согнувшегося между кустами роз. Здесь был настоящий розарий, с множеством различных сортов. Петр Георгиевич с гордостью показывал свое богатство. Видно было, что он большой любитель цветов и хороший садовод.

— Розы и женщины — вот что скрашивает вашу жизнь, — заметил он, подмигивая своему гостю. — Но то и другое имеет шипы, которые часто колются. Ничего не поделаешь! — он развел руками и глядел серьезно, с видом мудреца.

Под вечер Сергей Николаевич бродил по саду, спускался к реке и должен был сознаться сам себе, что ждал встречи. Но встреча не состоялась. Тогда он пошел в старый дом и поднялся по лестнице во второй этаж. В громадном зале было пусто. Мебель отсутствовала. На

хорах, где когда-то гремел оркестр, лежали какие-то доски, концы их высовывались через перила. Наверное, хотели делать ремонт, да так и бросили. В одной из соседних комнат стояли шкафы с книгами. Старинные кожаные переплеты были в пыли. Позолота еще не стерлась на корешках, и можно было прочесть знаменитые имена: Вольтер, Руссо, Дидро. Однако всем им было не менее пятидесяти лет. Казалось, с тех пор жизнь замерла, библиотека не пополнялась, и никто не интересовался книгами. Но нет, на столе лежали открытые тома. Видимо, кто-то недавно пользовался ими. Все они были иностранные: на французском, немецком и английском языках.

«Кто же читает их, как не Вера. Эта девушка тревожит мое любопытство. Существо странное и непонятное мне. Во всяком случае, чуждое! Несомненно, она красива, талантлива, даже интересна, но представить ее своей женой мне трудно. Базанов всё же достаточно состоятелен и, наверное, не отказал бы в ее руке, но она… Я удивляюсь, почему мне лезет в голову подобная чепуха. Глупо и больше ничего».

Сергей Николаевич старался отгонять эти мысли, но они возвращались к нему. Время тянулось медленно, было скучно. Разговоры с хозяевами не развлекали. Хотелось уже просить лошадей, чтобы отправиться восвояси. Удерживало только обещание Веры пойти в лес. Казалось неловким уехать раньше. Да манила и сама прогулка.

Когда все расходились по своим комнатам, Петр Георгиевич сказал:

— Веруся устала. Она была где-то далеко, и у нее болит голова, поэтому она и не показывалась, но завтра будет здорова. Она крепкая, за ночь мигрень пройдет.

* * *

По грибы пошли вчетвером. Это было несколько досадно для инженера: Федя раздражал его всем своим видом, каждым словом.

Анна Ивановна представляла из себя, по его мнению, пустое место. Ее как будто бы и не было. Однако в лесу скоро выяснилось, что никто никому не мешает. Все разбрелись поодиночке. Каждый шарил глазами под деревьями, под кустами и старался держаться своего направления. Иногда только между стволами мелькали фигуры, но потом они пропадали из вида, и тишина леса нарушалась

только скрипом ветвей, которые гнулись от налетавшего ветра, да постукиванием дятлов. Внизу было тихо и тепло. Ноги ступали по мягкому ковру из опавших иголок и листьев. Лес был смешанный. Голубое небо просвечивало меж верхушками деревьев.

Как трудно находить грибы! Ведь окраска их шапочек, то желтоватая, то коричневая, то серая, сливается с фоном, на котором они растут. На левой руке Сергея Николаевича большая корзинка, а в ней только два гриба и то громадных, старых, изъеденных червями; если их выбросить — ничего не останется.

«Говорили, что в лесу масса грибов, а на самом деле где они? Или их уже обобрали, или их нет и в помине. Интересно заглянуть в корзинку Веры Петровны».

— Ау! Покажите мне ваши трофеи! Э-э, да у вас чуть ли не полкорзины!

— А у вас ничего нет, потому что этих полусгнивших великанов надо выбросить.

— По-видимому, я иду ближе к дороге, и здесь до меня побывало уже много народа. Всё очищено.

— Тогда поменяемся, — с готовностью воскликнула молодая девушка.

— Нет, нет! Я некоторое время буду идти с вами. Я хочу поучиться.

— Пожалуйста.

Они сделали несколько шагов.

— Ну вот, остановитесь. Видите что-нибудь перед собой? Ничего? А вот на вас смотрит прекрасный подосиновик, и не маленький.

После того, как конец длинной хворостинки в руке Веры почти уперся в коричневую шапочку гриба, инженер с досадой произнес:

— Мои глаза бегают по всем направлениям и ничего не замечают. Этот подосиновик торчит так высоко, что его надо было заметить издалека.

— Берите его, он ваш.

— Почему мой? Не я его нашел.

— Осторожнее, осторожнее! Вы растопчите другие. Вот они рядом. — один, другой, третий…

— Ну, этих трудно увидать, к ним прилипли сухие листья. Я в отчаянии! Мне совсем не по плечу эта охота.

Девушка смеялась и, срезав перочинным ножом еще несколько экземпляров той же породы, бросила их в корзину офицера. Настроение изменилось, между этими двумя чуждыми людьми появилось нечто новое. Они шли рядом и разговаривали. Вера то и дело нагибалась; присматриваясь, заглядывала под кусты, шарила по земле палкой и иногда бросала срезанный гриб то к себе, то в корзинку своего спутника. Тот не протестовал, но сначала оправдывался и придумывал различные предлоги для объяснения своего неуспеха, а затем настолько увлекся разговором, что совершенно забыл о главной цели прогулки.

— Вот видите, какие у вас таланты: вы укротительница зверей, вы замечательная пианистка, вы знаете языки; наконец, вы замечательно ищете грибы. Вы интересуетесь хозяйством и даже умеете жать. Это необычный энциклопедизм!

Вера прервала:

— Я берусь за многое, но не знаю ничего основательно. Многие мои знания совершенно излишни. Кому нужна моя музыка или мазня красками?

— Я, к сожалению, не видел ваших картин.

— Зато я не знаю многого, что нужно, что действительно важно. Дети болеют и умирают, а я не знаю ухода за ними. Я не знаю агрономии и бессильна посоветовать что-нибудь, когда ко мне обращаются крестьяне. Я не обладаю педагогическим талантом и не могла бы быть учительницей. Два года, проведенные мною в деревне, показывают, что здесь я лишний человек. Меня мучает совесть. Я чувствую свой долг перед народом и не знаю, что мне делать.

Всё это было произнесено с жаром. Казалось, дочь крупного помещика Базанова обрадовалась случаю встретиться и поговорить с мыслящим человеком, принадлежащим к иной среде и к иным

интересам. Сергею Николаевичу нравился пыл этой дикарки, она сама нравилась ему всё больше, но он не сочувствовал ей и не понимал её.

— О каком долге перед народом вы говорите? Что вы должны ему? Почему такими вопросами не задаются за границей, и почему наши поэты, наши писатели распинаются на все лады, воспевая тяжелый крестьянский труд и понося другие сословия? Из мужика создают какого-то кумира и закрывают глаза на все его недостатки.

— Потому что наш народ несет на своих плечах все тяжести, не получая ниоткуда помощи. Кругом, со всех сторон — одни притеснения, но он, несмотря на некоторые пороки, сохраняет в себе всю чистоту, всю силу, все высокое, что составляет суть русского человека.

Сергей Николаевич хотел возражать, но Вера говорила так быстро, с таким азартом, что прервать её было трудно. Он думал: «Эта учительница, как ее, Анюта, что ли, и ее брат? Они распропагандировали это милое создание. Спорить с нею совершенно напрасно. Кажется, она почувствовала ко мне некоторое расположение, и поэтому не стоит вооружать ее против себя».

Он, наконец, вставил:

— В общем, вы правы. Если я не разделяю взгляда, что наш народ богоносец, то всё же я преклоняюсь перед ним. Действительно, он выстрадал многое, и всё же в нем таится великая сила.

— Вы так думаете? — в голосе прозвучало удовольствие. — А сначала я думала, что вы другой человек.

— Что же вы думали обо мне? Наверное, что-нибудь худое.

Вера Петровна усмехнулась:

— Я не знала вас.

— А теперь?

— Смотрите, смотрите! — совсем другим голосом закричала девушка. — Мы чуть не пропустили целого гнезда. Ведь это белые, — головка ее с прядями свисающих на лицо волос низко нагнулась. Солнечные блики играли на её легком платье.

«Лесная фея. Зачем она затуманивает себя высокими материями? — думал Сергей Николаевич. — Она очаровательна, и если ее вырвать из-под влияния опасных и чуждых людей, она может быть прекрасной женой и украшением любого общества. В Варшаве в среде наших штабных дам она заметно выдавалась бы своими достоинствами».

— Интересно знать, что вы будете делать потом?

— Как что? Пока мы не наполним корзины — будем идти вперед, обратно пойдем дорогой.

Инженер засмеялся:

— Вы не поняли меня. Я продолжаю наш прерванный разговор. Мне хотелось узнать, какие у вас планы на будущее. Ведь вы не собираетесь похоронить себя здесь, в деревне?

Она протянула:

— Похоронить в деревне? С этим выражением я совершенно не согласна. Наоборот, я буду всегда жить в деревне, но только не такой жизнью, как теперь. Я не хочу быть помещицей. Я должна подготовиться к своей будущей деятельности: или я поеду за границу изучать медицину, или поступлю на Бестужевские курсы[2].

— Вот как! А что скажет Петр Георгиевич? И ваша belle mere[3]. Я говорю о Зинаиде Ростиславовне.

— Мой отец был бы очень рад, если бы я отправилась в Петербург к его двоюродной сестре, моей тетке, а Зинаида Ростиславовна… она, наверное, ничего не будет иметь против моего отъезда, — последние слова прозвучали жестко, в них чувствовалось нерасположение к мачехе.

— Мне казалось, что вы привязаны к этим местам.

Вера ответила раздумчиво:

— Как вам сказать. Я люблю наш парк, липовую аллею, высокие березы у дороги, старый дом, люблю знакомые леса, и поля. Как сон,

[2] *Бестужевские курсы* — первое высшее учебное заведение для женщин в России, которое открылось 2 октября 1878 года в Санкт-Петербурге и действовало до 1918 г. (прим. ред.)
[3] Фр. «мачеха».

очаровательный сон, который уплывает из сознания, когда голова начинает работать ясно, когда пробудившийся человек сознает окружающую действительность. Во мне живы какие-то неведомые связи с прошлым, но их надо порвать.

Вдруг она исчезла среди зарослей высоких папоротников. Раздался ее восторженный крик. Инженер раздвинул широкие, перистые листья, паутина опутала его лицо и голову. На маленькой лужайке он увидел светлое пятно платья Веры. Она ползала по земле:

— Смотрите, смотрите, какая прелесть! Рыжики!

Шапочки грибов различных размеров и разных оттенков окраски с серыми концентрическими кругами, были рассыпаны по зеленой полянке. Это было многочисленное семейство из почтенных стариков и маленьких детей.

— Собирайте же, собирайте!

— Они принадлежат вам, вы их открыли!

Грибы полетели в корзинку Сергею Николаевичу. Чувство спортсмена, выигравшего приз, рисовалось на веселом лице девушки.

— Кому брать грибы — это неважно, а вот открыть такое местечко… — она не договорила, в голосе ее чувствовалась гордость.

«Это молодое создание полно увлечений. Силы бродят в ней. Кто сумеет овладеть ее сердцем, тот будет вознагражден. И она пойдет за ним, потому что она еще не сложилась, не вылепилась во что-либо определенное», — думал инженер.

Иногда их руки встречались. Несколько раз они столкнулись, так что он почувствовал ее гибкое тело.

«Она не застенчива. Что это, результат ее неопытности, неиспорченности или врожденной холодности, а может быть, наоборот, она познала уже многое и не так наивна, как кажется?» — офицер осторожно взял молодую девушку за руку выше локтя:

— Вера Петровна, постоим минутку. Знаете, у меня голова кружится. Лазить так по земле, согнувшись в три погибели! И, наконец, жарко, чувствуете, какая духота.

— Еще бы, вы нарядились в китель, да еще какой толстый, — она попробовала «чертову кожу» своими длинными, красивыми пальцами.

— Снимайте-ка его и положите в корзину. В лесу можно без особых церемоний.

Лицо девушки было близко, широкие зрачки смотрели спокойно.

Казалось, через них можно заглянуть в самую душу.

— А в Петербурге, по окончании Института вы жили у тетки?

Лицо ее выразило недоумение. Переход был слишком резкий.

— Светский образ жизни, балы, выезды, многочисленные знакомства, поклонники. И вы оставили всё это, ввергли себя в тишину деревенской жизни? Разочарование? Оскорбленное чувство? Вы бросаетесь в другую противоположность: поля, леса, добрые мужики и герои из народа, учительницы, студенты.

Смех прервал речь инженера.

— Это вы так представляете себе меня и мою добровольную ссылку сюда, в наше милое Заречье?

Сергей Николаевич почувствовал себя неловко. Прежде всего, ему самому было непонятно, почему он начал такой допрос, а во-вторых, почему у него явилось предположение о какой-то драме в прошлом и об увлечении этим Федей? Конечно, намек на студентов был понятен и мог быть истолкован, как ревность.

— Я люблю разгадывать людей, с которыми имею дело, особенно, если они представляют для меня интерес, — девушка отодвинулась, и лицо ее стало серьезным.

— Вы плохой отгадчик. Я совсем иная, чем вы предполагаете, и не могу внушать никакого интереса людям другого склада, чем я.

— Ах, вот как, я человек далекий для вас. Мне кажется, что это слишком скороспелое суждение. Мы мыслим иногда по-разному, но наше расхождение только кажущееся.

Оба разговаривающих насторожились. Вдали послышались резкие звуки — как будто рухнул штабель досок: «Тр-тр-тра-а-ах!»

— Что это? — инженер посмотрел в небо. — Я думал, удар грома.

— Что-то не похоже. Выстрелы!

— Нет, в лесу раскаты грома слышатся именно так, не глухо, а резко.

Ветер пронесся по верхушкам деревьев. Ветви заскрипели, и сухие листья и иглы посыпались вниз. Беспокойно крикнула сойка. И вслед за тем струя свежего воздуха ворвалась в спокойное, напитанное ароматами зелени пространство между стволом. Папортники надулись и зашуршали.

— Дождь!

Солнечные лучи померкли, и сразу стало почти темно.

— Туча надвигается слишком быстро. Надо бежать, иначе мы промокнем до костей. Здесь есть небольшая сторожка.

— Ау, ау, ау! — Вера приставила руки рупором. В наступившем минутном затишье ответа слышно не было.

— Ау, ау, ау! — то же молчание.

Шквал ударил с новой силой. Ветер трепал одежду. Фуражка сорвалась с головы офицера и, отлетев в сторону, ударилась о ствол осины, которая гнулась и трепетала листьями. Небо заволоклось тучами. Черное, клочковатое, оно низко нависло над лесом. Ослепительная молния гигантской стрелой пронзила глаза.

— За мной!

Оба только что мирно разговаривавших спутника бегом, перепрыгивая через кочки, понеслись, придерживая свои корзины, в которых грибы тряслись и подскакивали от толчков. Крупные капли дождя забарабанили вокруг.

— Переждем здесь, под деревом. Смотрите, какая развесистая крона!

— Какое там, через минуту с листьев хлынут потоки воды. И потом, молния… — черное небо словно разверзалось, удары грома следовали один за другим и рассыпались могучими раскатами. Огненные вспышки и темнота чередовались во всё ускоряющемся

темпе. Вода, листья и целые сучья метались в воздухе, увлекаемые вихрем. Ветер крутил и рвал. Большая сосна, не выдержав напора, рухнула. Ствол переломился у самого основания. Верхушка с треском ломала мелкие деревья. Теперь человеческие голоса терялись в нагромождении звуков.

Сергей Николаевич следовал по пятам за своей проводницей. Та бежала уверенно. Казалось, ужасы разыгравшейся природы не страшили ее. Мокрое платье облипало фигуру и путалось вокруг ног. Блестящий офицер в начищенных сапогах, в рейтузах, кителе и белоснежной фуражке представлял сейчас печальное зрелище. Холодная вода струилась по его телу, к сапогам прилипла грязь, а лицо пылало от ветра и усталости. Он проклинал себя за решение пуститься в такое рискованное предприятие в неподходящем костюме с какой-то девчонкой, которая неспособна на предусмотрительность и завела его Бог знает куда.

Сквозь чащу показались две фигуры, в которых с трудом можно было признать учительницу и ее брата. Они шли медленно, нагруженные корзинами, наполненными до верха грибами. Они дорожили своей ношей и мало беспокоились о платье и о дожде, который давно промочил их. У небольшой горки ютился шалашик, построенный из жердей и соломы на два ската. Здесь лес оканчивался, и начиналась поляна, по ней неслись каскады воды. Тучи мчались над головою с поразительной быстротой. Молнии бороздили небо на горизонте, гром грохотал реже и не так громко. В шалашик надо было влезать на четвереньках. В тесноте могли бы поместиться не более 5–6 человек, зато сюда не проникала вода. Мокрые грибники старались не касаться друг друга. Хмурое настроение скоро уступило место веселости. Федор Иванович смешил всех своим философским настроением.

Он относился ко всему с полным спокойствием, а к окружающим — с большой предупредительностью. Он заявил, что дождь скоро пройдет и, указывая на небо, объяснил, откуда можно ожидать просветления. Действительно, его предсказание сбылось. Поредевшие тучи превратились в клубящиеся облака, и вдруг среди них брызнули лучи солнца. Дождь еще шел, но гигантская радуга повисла над лесом от края до края. Завеса непогоды уходила всё дальше. И вот наступила живительная теплота. Солнце пригрело выползших из шалаша промокших любителей природы. Они подшучивали над своим видом. Куксился только офицер. Ему неприятно было, что он находится в таком смешном виде перед девушкой, которая заняла его воображение в эти последние дни.

Студент возгласил:

— Теперь можно и просушиться. Мужчины — по одну сторону шалаша, женщины — по другую. Ветерок и солнышко, чего лучше!

Сергей Николаевич упрямился. Все смеялись. Вера и учительница спрятались так, что их не было видно. Их легкие платья были развешаны на кусте, а сами они радовались лучам припекающего солнца. Студент отнесся к обязанностям человека, опекающего неопытного товарища по несчастью, серьезно. Он командовал:

— Рубашку снимайте, она быстро высохнет. Китель сверните, он толстый, его не высушишь. Ну, а уж брюки, — он махнул рукой. — Придется идти в мокрых. У меня дело другое, всё тоненькое, летнее, — говоря это, молодой человек снимал с себя всё и развешивал на жерди, торчавшие из шалаша. Он нисколько не стеснялся своей наготы и подставил спину под лучи солнца. Офицеру было досадно, что он оказался таким беспомощным и что выглядит он, как мокрая курица. Стараясь принять беззаботный вид, он покровительственно спросил:

— Вы на каком факультете?

— На медицинском.

— Вы знаете Петербургских родственников Веры Петровны?

— Да-а, знаю!

— А где они живут?

— Вот этого не могу сказать вам. Я в Петербурге не бывал. Я в Московском Университете.

Сергей Николаевич прекратил расспросы. Созданная его фантазией теория лопнула. Значит, девушка стремится ехать в Петербург совсем не потому, что там проживает этот герой из народа. Тогда, может быть, и всё остальное лишено всякого основания.

Небо окончательно очистилось от туч. Потоки воды схлынули, почва просыхала. Он нее поднимался пар. На траве блистали капли воды, на дорогу выползли дождевые черви. Лягушата скакали вокруг. Лес после пронесшейся бури стоял спокойный и величественный, как

будто ничего не случилось. Ветер окончательно затих. Вера, не поднимаясь из-за шалаша, спросила:

— Ну, как у вас? Мы высохли и хотим есть.

Федя отвечал:

— Я говорил Аннушке, что надо захватить что-нибудь. В лес идешь часа на два, на три, а можешь застрять на целый день.

— Мужчины более осмотрительны, — послышался ответ учительницы.

— Ну, что ж, идти так идти! Мы относительно просохли, — с этими словами студент направился в будку и вытащил оттуда корзины. Он заботливо осмотрел их и ворчал про себя, что грибы Веры не были закрыты листьями и пропитались водой. Скоро вся компания двинулась в путь. Местами на дороге стояли большие лужи, и их приходилось обходить. Каждый выискивал себе более сухие места, и все шли вразброд, обмениваясь только отдельными замечаниями и возгласами. Инженер нес фуражку в руках и корил себя, зачем взял ее в лес. Он беспокоился, в чем поедет завтра домой, к Николаю Николаевичу, в каком виде он предстанет перед Марией Николаевной. Китель можно переменить, но фуражку заменить нечем!

Наконец, началась березовая аллея. Здесь стояла масса воды, надо было идти полем.

— Это что такое?

— Там что-то случилось! Бегут! Кричат! Машут руками!

Что-то темное, большое неслось по кустарнику.

— Да ведь это Мишка! — вскрикнула Вера Петровна.

Действительно, медведь несся во всю прыть, причем задняя часть его туловища, как бы стараясь перегнать переднюю, всё время вылетала вперед, и зверь скакал как бы боком. Он был уже близко. Из открытой пасти торчали белые зубы, язык свешивался, как у собаки. Он тяжело дышал, пыхтел и иногда словно крякал. Ветки ломались под тяжелыми лапами, грязь разлеталась комьями. Приближаясь к изгороди, Мишка направился к воротам, по-видимому, хорошо зная дорогу. И вдруг столкнулся с людьми. Он спешил, остановился,

зарычал. Все бросились в разные стороны. Молодая хозяйка направилась прямо к нему. Она говорила ласково и протягивала руки. Ее воспитанник имел непрезентабельный вид, он был взлохмачен, грязен и глаза смотрели зло. Сергей Николаевич крикнул:

— Не подходите! Не подходите!

Федя осторожно шикнул:

— Ш-ш-ш!

Анна Ивановна стояла неподвижно.

— Мишенька! Миша! Куда вы собрались, Михаил Михайлович?

Зверь потянул в себя воздух. Несколько мгновений он был в нерешительности и вдруг, сделав два-три шага вперед, ткнулся носом в колени девушки. Та потрепала его по голове.

— Миша, пойдем со мною! Я дам хлеба с медом, — уши медведя задвигались. Он как бы прислушивался. Наверное, он улавливал что-то в словах девушки, что ему нравилось, и взгляд его смягчился.

— Ну, Мишенька, пойдем домой!

И животное повиновалось. Выбежавшие из двора конюх, сторожа и бабы опасливо сторонились, когда мимо них двигалось шествие: обузданный зверь со своей укротительницей и грибники с корзинами за плечами. Собаки лаяли.

Наибольшее внимание привлекал к себе офицер. Все видели его в эти дни таким блестящим, таким шикарным, а теперь он плелся последним с непричесанными волосами, без фуражки, заляпанный грязью и полупросохший. Бабы говорили:

— Стало, дождь захватил.

— Ён болезный, хилый.

— Лядащий…

* * *

Завтрак Сергею Николаевичу подали в его комнату в мезонине. Толстая старуха и ее подручная Дуняшка принесли всё необходимое.

Редиска была свежая, сливочное масло с кусочком льда. Пареные грибы в сметане и антрекот с салатом в таком количестве, что хватило бы на нескольких человек. На стол поставили бутылку с водкой, кувшин с квасом, рюмку, стакан… И аппетит у офицера разыгрался вовсю. Прислуживающие не уходили. Толстуха суетилась и приговаривала:

— Кушайте, батюшка. Грибки свеженькие… Редисочка доморощенная… Водочка холодненькая… Дуняшка, подвинь хлеб поближе… Водочки выпейте, а то, Боже упаси, простудитесь! Ишь, грозища какая, на Илью пророка не было, а теперь он вот как разгневался!

Инженер мысленно посылал к черту услужливую домоправительницу. Она стесняла его, и он чувствовал, что кусок застревает в глотке. Дуняшка таращила глаза, как будто бы видела перед собой людоеда. Ей любопытно было смотреть, как барин справляется с ножом, вилкой, как он вытирает губы салфеткой, какие у него чистые, круглые ногти.

Сергей Николаевич не выказывал желания разговаривать, но из вежливости поддакивал или издавал возгласы удовлетворения.

— Сухая ложка рот дерет. Дуняшка, налей кваску барину.

Слава Богу, послышались шаги, дверь скрипнула, и в комнату вошел хозяин. Женщины без всякого знака с его стороны скрылись.

— Лесное приключение. Дождь, буря и всё прочее. Веруся рассказала. Может быть, я могу быть Вам чем-нибудь полезен?

Офицер объяснил, что у него имеется всё в запасе, чехол же с фуражки Вера Петровна передала прачке, и он вечером будет готов. Что касается прочего — всё сохнет рядом на балкончике под крышей.

— Стало быть, всё в порядке.

Петр Георгиевич опустился в плетеное кресло у окна и сидел нарочно так, чтобы не смущать гостя, заканчивающего трапезу. Он курил папиросу и дым выпускал колечками, пребывая в раздумье или просто не желая мешать своим разговором. Только тогда, когда он определил по звукам, что насыщение закончилось, Базанов сказал:

— Если вы не передумали, я отвезу вас обратно сам.

Сергей Николаевич горячо возразил:

— Вы очень любезны, но мы уговорились, что мой приезд не причинит вам никакого беспокойства и что вы отправите меня с доктором, который бывает на пункте в Заречье. Я знаю, что он принимает там больных завтра. Зачем же вам беспокоиться? Проделать лишних сто верст, хотя бы и в Вашем чудесном экипаже, не так-то приятно!

Хозяин кашлянул:

— Видите ли, мне всё равно надо ехать в город через два-три дня или завтра. А к поездкам я привык. Если хотите — это мое единственное развлечение.

Гость угадал скрытые мотивы, казалось бы, излишней любезности хозяина (картина маленькой квартирки судебного пристава с ее игривой хозяйкой, которая тут же сядет к нему на колени, обовьет шею рукой и будет целовать его своими пунцовыми, горячими губками, нежностью отразилась в его голосе) и коротко сказал:

— Я весьма признателен и надеюсь, что вы найдете время побывать у брата. Мы все будем рады видеть вас. Мария Николаевна не простит мне, если я не доставлю вас к ней на обед.

— Я всегда отдыхаю в обществе вашего брата. А его семья — я говорю о Марии Николаевне и Евгении Антоновиче — заставляет забывать, что мы живем в медвежьем углу. Я чувствую, как будто бы я снова попал в компанию веселящегося Петербурга. Николай Николаевич — серьезный работник, но умеет совмещать служебные обязанности с развлечениями. Ваша работа сильно интересует меня, и я собираюсь выведать от вас кое-какие военные тайны.

— Да-а, когда живешь в такой глуши, интересы становятся узкими, а между тем нельзя опускаться. Варшава — это наш форпост на Западе, оплот силы против Германии.

Офицер почувствовал желание хозяина перевести разговор на политическую почву. А перед его внутренним взором снова предстал образ Дианы с медведем, таинственной девушки с малопонятным характером. По телу растекалась приятная истома. Скрываемый зевок перекосил рот. Чуткий хозяин догадался и встал:

— Я пришлю прислугу, чтобы они убрали всё и не мешали. Вздремните, коли охота. За обедом поговорим.

* * *

Однако ожидаемый разговор за обедом не состоялся. Громадный букет роз посредине стола казался неуместным, а главное, не подходил к натянутым, скучным лицам, к отрывистому неинтересному разговору, к общему фону скуки, которая чувствовалась в каждом движении, в каждом слове обедающих. Вопрос Зинаиды Ростиславовны о грозе несколько разрядил атмосферу. Сергей Николаевич стал рассказывать о прогулке, о грибах, опустил подробности о шалаше и перешел к описанию возвращения. Он хотел угодить девушке, рассказав о ее смелом обращении с медведем, и совершенно не ожидал последствий своего желания. Когда лица отца и дочери выразили тревогу и он увидел ошибку, было уже поздно. Нервная дама не могла больше себя сдерживать:

— О, вы не знаете, как я была напугана. Дикий зверь промчался мимо дома. Я слышала раньше крики около конюшни и уже чувствовала, что случилось ужасное. Да-да, я была уверена, что взбесившийся зверь заломал кого-нибудь. За ним бежали, кричали и бросались в разные стороны, когда он оборачивался и издавал страшный рев. Матерь Божья! Я была близка к обмороку. Окна и двери в нашем доме были открыты. Это чудовище могло ворваться в дом. Я хотела бежать, но не могла. Мои ноги отказывались служить. Я дрожала от ужаса, представляя себе растерзанное тело кого-нибудь из нашей прислуги.

Сергей Николаевич закусил губы. Пальцы его катали маленький шарик хлеба. «Что я наделал? Черт меня дернул начать этот рассказ! Эта полька — она, несомненно, полька: недаром восклицает “Матерь Божья”, “Матка Бозка”, да и в произношении слышится что-то нерусское — злющая и противная особа. Какие у нее тонкие губы!»

— Я не выдержала и дальше ничего не помню. Вот как щадят здесь мое здоровье! Вот как о нем беспокоятся! — голос хозяйки повысился, она теряла контроль над собой. — Я больше не могу этого терпеть! Последний раз я повторяю свое требование: медведя надо застрелить! Мы живем не во времена Дубровского, Петр Георгиевич! Вы слышите, что я говорю? Застрелить, а не выпускать на свободу. Кто бы ни являлся защитником этого зверя, его участь решена!

Брошенная салфетка в кольце ударилась о стакан, прозвучал печальный звон. Этот звук заставил хозяйку опомниться, она взяла себя в руки. Лицо ее было бледно, губы подергивались, ноздри раздувались.

— Вы извините меня, — обратилась она к гостю. — Это старая история.

Офицер опустил глаза. Он чувствовал себя виноватым.

Хозяин пил большими глотками холодный квас. Бульканье в его горле громко раздавалось в тишине. Вдруг соседний стул с шумом отодвинулся. Сергей Николаевич обернулся к бывшей рядом Вере. Она стояла, выпрямившись, и держала руку на спинке стула. Глаза ее устремлены были прямо в глаза сидящей напротив мачехи. Она смотрела вызывающе.

— Этого не будет! — голос прозвучал резко и решительно. — Этого не будет! — повторила она с еще бо́льшим ударением. — Слышите, вы?! — резким движением девушка повернулась и вышла из комнаты.

Молчание долго не прерывалось. Тяжелое дыхание отца показывало, что он сильно волнуется.

— Я настаиваю на своем требовании!

«Проклятая фурия, — подумал Сергей Николаевич, — эта с виду болезненная женщина замучает кого угодно. Дочь умеет постоять за себя. Но что скажет отец?»

Носовой платок с кружевами и прошивками тем временем уже утирал глаза, из которых капали крупные слезы хозяйки. Дрожащими руками Петр Георгиевич наливал воду в стакан:

— Зина, выпей дорогая! Сейчас принесу лекарство. Простите, Сергей Николаевич, Веруся не умеет себя держать. Зина больная, нервная женщина. Слава Богу, завтра будет доктор. Пойдем, милая, упрись о мое плечо. Возьми себя в руки! Не надо! Сейчас тебя уложат в постель. Дуняшка! Где ты? Авдотья!

Когда пара удалилась и стоны раздавались уже откуда-то издалека, инженер зашагал большими шагами по столовой и перешел в гостиную, чтобы уйти из комнаты, в которой только что разыгралась безобразная сцена. Он говорил себе: «Вот она, семейная

жизнь! Наверное, эта женщина до брака представлялась настоящим ангелом, а теперь ведьма, черт в юбке!» Это размышление сменилось другим, когда перед его мысленным взором предстала Вера, такая, какую он видел только что: «Какая выйдет из нее жена?» Длительное раздумье привели к заключению: «Кто победит из этих женщин, тот более силен, а это покажет, каков характер у молодой красавицы и можно ли справиться с ее причудами. Ее можно еще обломать, конечно, не грубо, а постепенно. Она подчинится любимому человеку. Да, да, любимому!»

Тут офицер остановился против помутневшего от времени трюмо и взглянул на свое отражение. «А ведь, пожалуй, жених я завидный! Женщины скажут: недурен собою. Родители невесты согласятся во мнении, что хорошая карьера обеспечена. Чего лучше! Окончена Военная Академия. Прекрасное воспитание и всё прочее. Постройка зданий, дорог крепостей — всё это сулит большие доходы». Сергей Николаевич покрутил усики, улыбнулся сам себе и вдруг почувствовал, что его самоуверенность пропала: «Такие не подчиняются никаким правилам. Разве можно сказать уверенно, чего она хочет и чем будет довольна?»

Он вышел на крыльцо, пересек двор, долго бродил в липовом парке, спускался к реке, заходил в старый дом — всё с тайным намерением встретить дочь помещика. Но напрасно! Уже совершенно стемнело, и надо было идти к себе в комнату. Там он нашел чай, печенье и варенье, и маленькую записку, на которой почерком Павла Георгиевича было написано: «Обстоятельства сложились иначе, чем я думал. Мне нельзя ехать. Зинаида Ростиславовна больна. Утром рано посылаю за доктором. Вы можете возвратиться к брату с ним, если пожелаете. Очень сожалею о сцене, которой вы были свидетелем. Увидимся и поговорим. Уважающий Вас и готовый к услугам П. Базанов».

В то время, как Сергей Николаевич ложился спать, в старом барском доме в комнате Веры сидел ее отец и с беспокойством наблюдал за дочерью. Свечка на столе оплыла, так как ветер из открытого окна колебал пламя. Тени двигались по потолку. Лицо молодой девушки то освещалось, то погружалось в темноту.

— Ты не отвечаешь мне. Ты не хочешь со мною разговаривать. Значит, ты не видишь моего хорошего отношения к тебе. Все знают, что я горжусь своей дочкой. Я готов выполнить любое твое желание. Неужели ты одна не видишь этого? Никто не собирается стрелять в твоего медведя. Вопрос идет о том, что он становится опасным. Он

вырос, в нем пробудились лесные инстинкты. Он жаждет свободы, он срывается с цепи и старается удрать. Зинаида Ростиславовна боится его, она не смеет выходить во двор, в сад. Я понимаю, что судьба твоего питомца тебя беспокоит, но надо же на что-нибудь решиться.

Наконец девушка прервала молчание и вяло произнесла:

— Всё это не то, совсем не то. Она просто хочет настоять на своем. Она готова убить его, но, прежде всего, ей важно оскорбить меня, обидеть, показать свою власть. С тех пор, как она увидела, что я привязалась к Мишке, она решила разлучить меня с ним.

Опечаленный отец качал головою:

— Вечные недоразумения. Разлад между дочерью и мачехой. Разлад между двумя женщинами: ни та, ни другая не хотят уступить. Тяжело, очень тяжело! Даже присутствие постороннего человека не сдержало вас.

Заметив негодующий жест девушки, он продолжал:

— Я не говорю, что ты виновата. В данном случае мне очень неприятно, что этот офицер, наш гость, явился свидетелем не особенно красивой сцены.

Наступила тишина. Только мотыльки, стремясь на пламя свечи, обжигались и с шорохом падали на клеенку.

— Этот молодой человек, кажется, очень дельный, и ему предстоит хорошая дорога. Какое он произвел впечатление на тебя?

Дочь ответила резко:

— Замечательное! — в голосе звучала ирония. И сейчас же другим тоном. — Я уезжаю в Петербург. Ты хотел этого. Теперь я исполню твое желание. Только предупреждаю, я не буду жить у тети, устроюсь иначе, а Мишку…

— Уж не собираешься ли ты взять его с собой?

Слова дочери не казались Петру Георгиевичу серьезными. Это решение могло явиться внезапно, под влиянием раздражения. Поэтому он хотел разрядить атмосферу шуткой.

— Нет, я выпущу его на свободу. Пусть себе живет, как хочет. Но я не позволю убить его!

— Дорогая девочка! Да кто же покушается на твоего любимца. Неужели ты думаешь, что я сделал бы такое распоряжение. Успокойся, дорогая! — Петр Георгиевич поднялся со стула, подошел к дочери и нежно погладил ее по голове. — Разве ты не знаешь меня?

— Хорошо знаю. Бедный папочка! Ты можешь сделать то, чего сам не желаешь. К сожалению, твоя воля слишком слаба.

— Э-э, Веруся, ты осуждаешь своего отца. Судить другого всегда легко. А ты побывала бы в моей шкуре. Зинаида Ростиславовна больная, нервная. Приходится уступать из жалости…

— А мне жаль тебя, папочка. Я знаю многое. Но не будем об этом говорить. Одним словом, я уезжаю отсюда месяца через полтора-два, нет, раньше — когда начинаются лекции на Курсах.

— Ах, вот что! Ты поступишь на Курсы, наймешь комнату, заживешь по-студенчески. Может быть, обрежешь свои чудные волосы, наденешь на плечи плед, а свои прекрасные глаза закроешь синими очками, и превратишься в нигилистку. Дочь Базанова — нигилистка! Это замечательно! Нет, дорогая моя дурочка, твой отец сулит тебе совсем другую судьбу. Ты окончила один из лучших институтов, ты хорошо образована и воспитана. У меня найдется кое-какое приданое, и ты можешь осчастливить человека, подходящего для тебя. Я и тетя позаботимся об этом.

Вера вскочила и громко засмеялась нервным смехом.

— Пожалуй, вы привезли сюда этого инженера неспроста? Дорогой папочка, как вы мало знаете свою дочь! — она бросилась на шею к отцу и порывисто целовала его. — Часто мне жаль тебя, дорогой папочка. Ты добрый человек, знаю — любишь меня, но, но понимаешь ли, мы разные люди… Как тебе сказать, все люди разные, но ты человек старого поколения, а я…

— А ты нового, новейшего!

— Нет, дорогой папочка, в том то и беда — помесь старого и нового.

Петр Георгиевич тяжело вздохнул.

— Знаешь, что я скажу тебе по секрету? Если ты собираешься покинуть наше дедовское гнездо, то ведь и я скоро присужден буду сделать то же самое. Не будем об этом говорить сейчас, но это так. И тогда мы будем жить вместе, в Петербурге.

— А Зинаида Ростиславовна?

— Зина? Когда я продам имение и всё движимое, у меня будут деньги, и тогда она сможет осуществить свое постоянное желание — переселиться в лучшие края, в лучший климат, к лучшим людям.

— Бедный ты мой!.. Однако, мы заболтались. Уже четверть второго. Я забыла закрыть окно, и в комнате совсем холодно. Тебе надо идти спать. Что скажет Зинаида Ростиславовна, когда узнает, что ты засиделся у меня?

Крепким пожатием руки они попрощались, и каждый почувствовал, что между ними ширится пропасть, которую сейчас еще можно перешагнуть, но которая грозит сделаться непроходимой.

* * *

Сергею Николаевичу не пришлось долго спать спокойно: его разбудили стуки дверей, беготня и громкие голоса. Что-то происходило, но что именно — трудно было сказать. Вокруг дома стояла полная тишина. На небе не видно было признаков рассвета.

«Это не пожар. Вернее всего, кто-нибудь заболел».

Предположение инженера оправдалось. Зинаида Ростиславовна почувствовала себя совсем плохо. Она уверяла, что у нее останавливается сердце и что в горле что-то сжимается, как будто кто-то сдавливает его. Компрессы и нюхательные соли не помогали. Она громко стонала и взывала о помощи. Петр Георгиевич не знал, что делать. Он не боялся, что его супруга умрет, он даже не верил в ее страдания. К нервным припадкам жены он давно уже привык, но слушать ее жалобы, причитания и вопли ему всегда было тяжело. Из отдельных слов он мог понять, что его долгое отсутствие в спальне и пребывание у дочери истолковывались как явное поощрение грубости и распущенности плохо воспитанного молодого существа, предвзято настроенного против матери.

«Такие слабохарактерные отцы всегда развращают своих дочерей. Надо хоть раз в жизни настоять на своем. Пускай это будет какой-либо пустяк, неважно. Дело в том, чтобы пересилить каприз.

Наконец, история с медведем — не такая мелочь, тут может идти вопрос о человеческой жизни. Зверь также необуздан, как и его воспитательница. Жить с человеком, который не повинуется, а наоборот, старается делать всё не так, как его просят, и делает это демонстративно, нарочно, чтобы унизить! Нет, так жить невозможно!»

Петр Георгиевич знал хорошо, что спорить и доказывать бесполезно. Жена всегда считает, что она во всем права. Да и для чего это! Общей жизни, по существу, давно уже нет. Надо только успокоить ее. Был бы доктор, он дал бы ей что-нибудь снотворное. Михаил Рафаилович проедет сначала в деревню, а потом только, к завтраку — сюда. Надо послать к нему рано утром, чтобы он поспешил побывать в имении до приема больных.

И вот Сергей Николаевич слышит, как к крыльцу подкатывает тарантас. Он видит через окно, со своего наблюдательного поста, как Михаил Рафаилович вылезает из тарантаса и как за ним ямщик выносит чемоданчики с лекарствами и инструментами. Лошади машут хвостами, отгоняя мух, и фыркают, а ямщик похаживает, разминая ноги.

Солнце уже высоко. Стрелка часов — на девяти. В голове чувствуется тяжесть и желание еще поспать, но время позднее, надо вставать. Вскоре послышались голоса: один низкий, грубоватый, другой высокий, выразительный. Разговаривали хозяин и Михаил Рафаилович. Простучали колеса.

— Уехал. Обещался заехать к завтраку.

«В моем распоряжении часа два. Мне непременно надо повидать Веру Петровну. Я должен перед ней извиниться. Собственно говоря, это не так важно, мне кажется, она не сердится. Мой промах объясняется незнанием семейных отношений. Просто мне хочется видеть ее еще раз».

Так раздумывал офицер, бреясь перед зеркалом и одеваясь весьма тщательно, чтобы отправиться на поиски. Но желанию его не суждено было сбыться. От Устюши он узнал, что барышня с «ведмедем» ушла за околицу, неизвестно куда, — может в лес, а может и в поле, Бог ее знает. Взяла хлеба, соли и пошла. «Ранехонько! Когда вернется — не сказывала».

Старый дом смотрел печально. Фасад его, обращенный в тень, был мрачен и угрюм. Прислуга во флигеле двигалась осторожно, боясь нарушить тишину. Хозяин не показывался. В комнатах пахло лекарствами.

Доктор приехал снова к двенадцати. Он появился вместе с хозяином. Конец разговора долетел до ушей Сергея Николаевича:

— Здоровье нашей больной не внушает никаких опасений. Истерия. Скорее это болезнь городских женщин, но и Зинаиду Ростиславовну ни в коем случае нельзя отнести к деревенским.

Отсутствие женщин за завтраком как бы накладывало на присутствующих особый отпечаток. Все чувствовали себя свободнее, развязнее. Выпили по нескольку рюмок водки. Сергей Николаевич не отказывался, потому что у него было горько на душе. Разговоры коснулись всего понемногу: и политических событий, и внутренней жизни, и сплетен, и пересудов. Всё это — по-мужски, короткими фразами, резким словцом, среди стука ножей и вилок.

— Железнодорожная реформа Витте произведет целый переворот, — произнес инженер.

— Удешевление тарифа на далекие расстояния, — продолжил Петр Георгиевич.

— Человек башковитый, — заметил доктор.

— Монополия у нас вводится в будущем году. Прощай, Захаровская водка, — засмеялся хозяин, наполняя рюмки.

— Разжился на мужиках. Спаивал. Теперь переезжает в столицу. Открывает новое дело.

На слова доктора Базанов промолвил с усмешкой:

— Одни уходят из нашего уезда разжившись, другие прогоревши.

Сергей Николаевич спросил:

— А граф Толстой уехал?

— Получил крупную сумму в задаток за лес и ускакал. Ему надо торопиться тратить их.

— Зло сказано. Зато Михей теряет время, складывая их в кубышку.

— Его жена приезжала в город, закупала-щелка к бархат. Наши городские дамы завидуют.

— Красивая женщина! — мечтательно произнес Петр Георгиевич. — Ей бы другие манеры!

Завтрак быстро закончился. Обычные любезности, благодарности, рукопожатия. И вот уже гости на крыльце. Перед ними тарантас с уложенными в него вещами. Верх опущен, ямщик на козлах перебирает вожжи. Отдохнувшие лошади смотрят бодро. Уши их настороженно двигаются, ноздри расширяются. Может быть, они чуют медведя?

Вдруг появилась Вера. Она бежала через двор, свежая, с развевающимися вокруг красивой головки волосами:

— Итак, доктор, вы не забудете своего обещания? — проговорила она, слегка запыхавшись. — Ты извини меня, папочка, я опоздала. В лесу так хорошо после вчерашнего дождя. Я должна извиниться перед вами, — обращается она к Сергею Николаевичу. — Я плохо занимала вас. Наверное, вы здесь скучали.

Инженер хотел сказать то, что он ранее надумал, но лишь пробормотал:

— Наоборот, мне все здесь очень понравилось. Надеюсь, мы с вами встретимся. Не осуждайте меня! Очень благодарю! Незабываемые впечатления.

Сабля побрякивала в кольцах. Рука поднялась к козырьку. Последние рукопожатия. Тарантас прогибается под тяжестью седоков. Лошади делают разворот.

— Доброго здоровья!

— Всего лучшего!

— Счастливо оставаться! Тысяча благодарностей!

— До свиданья!

— Прощайте!

Две дворовых собаки с лаем увязываются за отъезжающими и провожают их до ворот.

Дочка и отец вернулись в столовую, не глядя друг на друга. Вскоре Вера осталась одна и вяло съела всё, что подала ей Дуняшка.

* * *

Сергей Николаевич и доктор тесно сидели в узком тарантасе. Их подбрасывало на каждой рытвине и раскачивало из стороны в сторону на разъезженных колеях. Солнце припекало.

Инженеру хотелось бы рассказать доктору о вчерашней истории и расспросить о Базанове, о жене его и о дочери, но он заметил, как глаза спутника закрываются и тело его раскачивается, постепенно склоняясь в сторону соседа. Доктор вдруг спохватывается, выпрямляется, но скоро с ним опять происходит то же самое. Он зевает, прикрыв рот рукой.

— Извините. Встал рано. За завтраком выпил, вот и разморило!

Дорога ползет, извиваясь среди желтого жнивья, зеленых лугов, среди перелесков, проходит вдоль опушек, врезается в высокие боры; то поднимается на холмы, то опускается в овраги с бегущими в них речушками. Мостики дребезжат под колесами; доктор открывает глаза, осматривается, узнает знакомые места и снова погружается в дремоту.

— У меня, знаете, привычка. Могу проспать всю дорогу, — говорит Михаил Рафаилович на земской станции, где меняют лошадей.

И опять пейзажи Валдайской возвышенности. Инженер думает, что окрестности Варшавы и вся Польша совсем не похожи на здешние места. «Там всё возделано, повсюду шоссе, а здесь — дичь, бездорожье. Там в деревнях постройки добротные, здесь — избенки с соломенными крышами. Там климат ровный и мягкий, а тут — суровая зима, снега, заносы. История поставила одни народы в благоприятное положение, а другие обрекла на лишения и тяжелый труд. Всюду несправедливость. Черт возьми! Одно соприкосновение с этой чародейкой настраивает мою голову на странные мысли. Какая чепуха! Все обитатели этих забытых Богом уголков нашей родины, какие-то чудаки. Поживу здесь еще недельку — и в Варшаву!»

Колокольчик тянул заунывную песню, и тоскливое настроение всё более усиливалось. Казалось, Николай Николаевич, Мария Николаевна и Евгений Антонович где-то далеко-далеко, и что уехал он от них так давно…

Между тем, с горы виднелся уже городишко с колокольнями двух церквей и с зелеными пятнами садов между домами. Доктор окончательно проснулся. Он сказал, как бы заканчивая прерванный разговор:

— Девушка очень мила. Она своенравна, и я побаиваюсь за ее будущее. Сегодня она обратилась ко мне с просьбой дать ей яд. Она объяснила, что это для медведя. Яд должен обладать такими свойствами, чтобы животное не мучилось. Она хочет отравить его сама. Отпустить медведя на свободу боится. Он ручной и сейчас же попадет на рогатину.

Сергей Николаевич крайне удивился:

— Неужели она сможет отравить своего любимца?!

Доктор, подумав, ответил:

— Этого я не знаю. Пожалуй, может… Но я не привезу яда, боязно.

Тарантас катился с горы. Потянулись огороды. Ямщик нахлестал лошадей, и те понеслись. Колокольчик так и заливался. Кто-то поклонился доктору. Тот произнес:

— Вот и приехали.

(Продолжение следует)

Евгений БАРАНОВСКИЙ

Родился в городе Кохтла-Ярве, в 2019 закончил ВГИК, сценарную мастерскую Юрия Арабова, написал несколько сценариев для сериалов и кино. Печатался в журнале «Искусство кино», «Россия без нас». Сценарист фильмов и сериалов («Ада», «Сын мой», «Блог»).

ТЕРПИЛЫ

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

ШКОЛА

На следующий день утром я вышел на улицу и пошел по своему стандартному маршруту до школы. Я обычно ходил не по центральной дороге, а дворами, чтобы никого не встретить. Старые побитые пятиэтажки и ржавые трубы казались инородными предметами в этой солнечной лучистости. Они появлялись из утреннего тумана, как мрачные призраки. И только вблизи можно было разглядеть их уродство и серость. Наконец школа черным квадратом выплыла из этого серого облака. Неподалеку было какое-то непонятное оживление. Я подошел к крыльцу, где толпилось несколько десятков учеников, они с мрачным видом уставились на меня. Я опешил от такого внимания. Из-за пристройки выглянул Крот. Он свистнул мне, подзывая. Озираясь по сторонам, я подошел. Я его еле узнал: его лицо было осунувшимся, с глубокими синяками под глазами.

— Темный, ты чо затихорился?

— Болел, — прохрипел я.

— Что-то про нашу вылазку расскажешь — урою, — прошептал Крот и мрачно поплелся куда-то за школу. Лера-Валера так же хмуро окинула меня взглядом и, отведя глаза, поплелась за Кротом. Я снова подошел к крыльцу, там было какое-то непонятное волнение. Все пялились, будто чего-то от меня хотели или ждали действия, которое я никак не совершал. Наверное, именно так смотрели на моего прадеда люди, отобравшие у него дом и семью. Из толпы старшаков вышел Столб и, нахмурившись, подошел ко мне.

— Парень, ты попал. Теперь просто офигеешь, что с нами в одну школу ходишь…

За его спиной скалился Сова. Он показал мне фак и, брызгая слюной, промямлил:

— Теперь ты «пругекнабэ»! Уяснил?

Я ничего не понимал — ни то, что он сказал, ни то, что вообще тут происходило. Нависшая надо мной лавина с каждой секундой увеличивалась в размерах, грозя рано или поздно обрушиться и раздавить меня, навсегда закрыв окружающий мир плотным слоем моего непонимания. Я посмотрел на Сову и просто кивнул.

— Подержи сижку. Столб протянул мне сигарету, и я машинально ее схватил. Он достал зажигалку и зажег ее. После этого он поднял мою руку с сигаретой и затянулся.

— Бля, это гениально. И руки не пахнут. Он засмеялся, но, посмотрев на мрачные лица окружающих, быстро сменил настрой.

Я стоял не шевелясь, думая, как отреагировать. Неожиданно ученики как-то засуетились, я повернулся и увидел директрису Валерию Павловну. Она шла к крыльцу, пристально глядя на меня. Я спрятал сигарету за спиной.

— Покажи руки, — строго приказала директриса. Я посмотрел на Столба, он показывал мне кулак. Я медленно выставил вперед руки с сигаретой. От волнения я вставил сигарету в рот, затянулся и закашлялся. Столб же ретировался: влившись в свою стаю, двинулся за пристройку.

— Куда пошли? Через десять минут чтоб все были у актового. По поводу похорон Савиной, — звонко отчеканила директриса. Ее голос повис в воздухе, а мне же на голову будто надели жестяной таз и хорошенько по нему огрели. Директриса забрала у меня сигарету и потушила ее о край урны. Сигарета осыпалась искрами.

— Десять минут — это целая вечность… — развязно прогудел Столб и скрылся за поворотом.

Я же прошмыгнул внутрь себя и закрыл ставни, оставив на расстрел директрисы лишь безвольную куклу своего тела.

Директриса взяла меня за плечо и повела в школу.

— Этот Столбов постоянно цепляется к тем, кто слабее. Характер такой, с ровесниками ниже травы, а с такими, как ты…

Директриса медлила, было ощущение, что она скрупулёзно подбирает слова, выстраивая витиеватую дорожку к действительно тому, о чем действительно хочет сказать. В итоге ходит кругами.

— Чего-то ты похудел, нормально ешь? Ты про наши завтраки слышал? У нас теперь новое меню по утрам. Три вида каши…

Мы шли по длинному коридору, и директриса рассказывала мне про новые бесплатные завтраки, закупку печенья, творога, расспрашивала меня про родителей. Слушать ее болтовню было утомительно, к тому же, она с трудом пробивалась через мой кокон, и лишь некоторые слова добирались до цели. Внутри же кокона был ураган, смерч, торнадо из образов, вопросов и мыслей, которые никак не выстраивались в хоть какую-то логическую структуру. Так мы дошли до туалета.

— Пойдем, помоешь руки с мылом, чтоб не пахли сигаретами.

Директриса открыла учительский туалет своим ключом. Ученикам было запрещено сюда заходить. На подоконнике стоял цветок, на стене висела картина, наверняка намалеванная на одном из уроков рисования кем-то из любимчиков директрисы. На картине было изображено солнце и заснеженное поле. Директриса подвела меня к раковине, а сама зашла в кабинку, оставив дверь приоткрытой. В голове снова всплыла ее фраза: «похороны Савиной». Мозг никак не мог сопоставить эти два слова, их смысл, расчлененный, висел в воздухе, и мне никак не удавалось его ухватить. Через дверную щель я увидел, как Директриса садится на унитаз, через пару мгновений я услышал характерное журчание. Стало неприятно, и я сильнее открыл кран с водой, всё так же косясь на директрису через зеркало. Труба предательски загудела, и я, судорожно дернувшись, уменьшил напор. Директриса посмотрела на меня через щель, и я смущенно отвел глаза. Взяв обмылок, я начал тереть им руки. Мыло так шершаво скользило по моей руке, будто кожица апельсина и пахло так же, и я его укусил. Мне всегда хотелось это сделать. Через какое-то время я услышал звук смыва. Директриса зашуршала одеждой и вышла из кабинки. Она

подошла к соседней раковине, взяла обкусанный кусок мыла, с удивлением покрутила его в руках стала тщательно мылить руки.

— Ты красивый мальчик. Мы все хотим тебе помочь. Жизнь у тебя трудная, мы всё понимаем. Но я уверена, что всё у тебя будет хорошо. Молодой симпатичный парень. Знаю, Савина тебе нравилась. Но смерть — это то, чего никак не ждешь… Она просто происходит.

Директриса пристально посмотрела на меня в зеркало и, набрав побольше воздуха, наконец вывела свою тропинку разговора к цели.

— Мне сказали, что ты был там, в машине, тогда ночью, и еще несколько учеников из школы там были… Я, конечно, со всеми разберусь… Лично. Но с тобой давай договоримся: ты ничего не видел. Нашей школе проблемы не нужны. И тебе тоже. Хорошо? Что было там, осталось там… — своими «там-там-там» директриса будто выбивала какой-то африканский ритм.

Я кивнул.

— Ну вот и чудесно, — директриса вытерла руки блекло-розовым полотенцем и вышла из туалета, показывая жестом, чтобы я шел за ней. Я взглянул на свое прыщавое лицо в зеркало и перебросил кусок мыла за другую щеку.

* * *

Ученики выстроились вдоль белого покрашенного бордюра напротив вытянутого помещения актового зала. Я стоял с куском мыла во рту, чувствуя, как оно начинает жечь щеку и язык. Становилось больно. Директриса подходила к каждому: поправляла воротничок, теребила волосы, видимо, сама себя так успокаивая. Дойдя до меня, она остановилась и улыбнулась, как бы намекая на нашу общую тайну. Ее рубашка вылезала из-под штанов, взгляд карих глаз был какой-то потерянный, но в следующее мгновение директриса натягивалась, как струна, как бы говоря всем своим видом, что готова к любому удару судьбы. Вообще было довольно-таки тяжело понять, каково это —держать в голове так много судеб, мотивов и предстоящих жизней. Пропускать каждого из нас через себя и пытаться влиять на будущее. Школу я не любил, но мне всегда нравилось наблюдать за людьми, выискивая в них что-то необычное, пытаясь понять, как сложилась в них эта несуразица. Казалось, каждая жизнь, протекающая через директрису, оборачивалась для нее опорой — очередной перекладиной лестницы, ведущей в какой-то неведомый остальным мир. Мир, где этот школьный муравейник существует вокруг нее и для нее. Вокруг матки, которая создает невидимые связи и невидимыми

веревочками тянет каждого ученика в определенную сторону. Все мы были ее марионетками, через которые она общалась с чем-то сокровенным, уплотняя и концентрируя частичку себя в нас, наблюдая, как постепенно мы встраиваемся в огромный мировой механизм, чтобы рано или поздно заменить отпадающие шестеренки. Директриса, как угасающий огонек, лишь мерцала, когда кто-то из нас дул на неё, раскачивал её эмоции и создавал её жизнь. Я знал, что живет директриса одна: наверняка ее пустая квартира — панельный склеп с пустыми и холодными комнатами. Она знает, что все мы рано или поздно уйдем и оставим ее в полном одиночестве. Свой мир холодных коридоров она наверняка наполняла грезами и толпой топающих детишек, весело смеявшимися и играющими: они спасали ее от ужаса одиночества.

К школе подъехала машина, из нее вышли несколько лысых мужиков. Директриса, выпрямившись, и подошла к ним и указала рукой на ровное место неподалеку. Один из мужиков открыл заднюю дверь, а двое других стали, тихо переругиваясь, доставать гроб. Директриса вернулась к нам и, окинув весь ряд уже своим привычным серьезным взглядом, тихо заговорила:

— Каждый из вас может исправить ошибки прошлого поколения, повернуть время и изменить реальность. Когда кто-то из вас умирает, мы лишаемся будущего, целого возможного нового мира и остаемся в болоте наших промахов и ошибок. Пока вы молоды — вы боги и считаете, что весь мир создан для вас. Но у жизни свои правила и законы, и рано или поздно вы должны встроиться в мир с более жесткими установками. Или нет. Выбор за вами… Но знаете, встроившись в него и став взрослым, вы всё равно будете просыпаться ночью и вспоминать, что когда-то ваши желания были выше, чище… — директриса запнулась. И, на миг задумавшись, глубоко вздохнула и отвернулась в сторону: было видно, что говорить ей тяжело.

Напротив нас поставили две обшарпанные табуретки, на них водрузили гроб. Один из мужиков, поковырявшись, поднял крышку. Мы в смятении загудели и засуетились, вставая на носочки, пытаясь со своего места заглянуть внутрь. У меня же во рту так сильно жгло, что я ни о чем думать не мог, и слова Директрисы рассыпались, не долетая до цели. Кто-то из учителей шептал: «Лицо у нее такое ясное. Прямо светлое», кто-то толкнул меня и прошипел на ухо: «После школы тебе конец». Я резко повернулся на эту фразу, но за мной было целый водоворот из учеников, и кто именно это сказал, я так и не понял. Но в чем виноват я и что случилось на реке? Я оглянулся посмотреть, куда выплюнуть мыло, но повсюду мелькали ботинки, бледные лица и бесцветные глазами смотрящие куда-то внутрь себя. Цветы навалили в эмалированный таз

возле гроба. Каждый подходящий должен был взять по цветку и положить внутрь. Директриса подошла к гробу первой и положила цветок.

— А теперь я хочу, чтобы вы подошли, и посмотрели на свою одноклассницу в последний раз, и задумались о своем поведении и ценности жизни…

Ученики стали подходить к гробу и класть в него цветы.

Я стоял бледный, еле заметно пошатываясь. Директриса подошла и взяла меня за руку. Видимо, думая, что меня переполняют эмоции, но в эту минуту я был болью в своем рту. Все мысли концентрировались на этой жгучей боли. Я стоял и терпел из последних сил. Из машины вышел священник: оказывается, он сидел там всё время. Поправил облачение, похожее на ковер в маминой комнате, он неспешно подошел к директрисе. Она что-то сказала ему на ухо, тот кивнул. Оглядев нас, священник откашлялся и монотонно запел. Даже, скорее, завыл:

— Со духи праведных скончавшихся, душу рабыни Твоея, Спасе, упокой, охраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче. В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу рабыни Твоей, яко един еси Человеколюбец…

Девчонки зашмыгали носами, а я стоял, ощущая, как слова священника обвивают меня. Наш ряд неспешно редел: каждый подходил к гробу, стоял какое-то время и клал цветок. Настала моя очередь, и я медленно пошел к Савиной. Я уже не чувствовал ни языка, ни зубов. Вместо рта была черная дыра. Но я терпеливо нес её в себе, превозмогая чудовищную боль. Было ощущение, что каждый шаг может быть последним, что вот-вот я грохнусь на землю. От гроба исходило свечение, такое же, как во время моих приступов.

Священник продолжал монотонную распевку:

— Ты еси Бог сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу рабыни Твоея упокой. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души ея.

Я сделал несколько шагов к святящемуся гробу, он был будто хрустальным, вокруг в воздухе висели и сверкали слова, сказанные священником, и к ним в ярком, слепящем свете поднималась сама Савина. Она парила в метре от своего хрустального гроба, ожидая поцелуй, который пробудит и вернет ее к жизни. Она парила напротив меня в своем легком платье и улыбалась. Ветер гонял ее волосы, и она была очень красивой. Я

стоял напротив нее, и слезы катились по моим щекам. Черная дыра во рту продолжала расти, заполняя всё мое тело. И вот я уже сам состою из этой черной дыры и боли, и каждый шаг разъедает каждую клетку моего тела. Савина смотрит на меня и протягивает руку. Я беру её руку, и тянусь к ней губами, и целую. Черная дыра из моего рта начинает затягивать и её, постепенно поглощая свет. Через мгновение яркий свет, исходящий от Савиной, окончательно чернеет, и окружающая реальность погружается в плотную и неподвижную темноту.

* * *

Очнулся я на кушетке у врача. Он старался на меня не смотреть.

— Ты зачем кусал мыло? Это же щелочь, она разъедает слизистую, уничтожает микрофлору. Ты совсем дурак?

Разговаривать особо не хотелось, да я и не особо понимал, зачем это сделал. Просто мимолетное желание.

— Тебе нужно провериться у психолога. Тут какая-то патология.

Я уставился в пол, изучая разводы на линолеуме. Мне всегда казалось, что с чем-чем, а с психикой у меня полный порядок. Я перевел взгляд на настольную лампочку. Она была без абажура и, если на нее долго смотреть, оставляла перед глазами световой отпечаток. Меня это забавляло. В какой бы темный угол я ни переводил взгляд, всюду были эти яркие пятна. Я тяжело вздохнул и закрыл глаза. В этот момент лампочка сверкнула и потухла. Черный контур врача на фоне светлого окна поднялся, застилая от меня свет.

— Ну что за проводка, третья за неделю гаснет…. Врач недовольно схватил горячую лампочку полой халата и с противным скрипом стал ее выкручивать. Затем подошел к шкафу и, покопавшись, достал новую.

— Я тебе освобождение напишу. Приди в себя, я знаю, что у тебя были чувства к этой… Которая того. Откинулась.

Я покраснел, хорошо, что в темноте этого не было видно. С чего они все взяли что у меня были чувства? Да и слово это — «откинулась» — как-то не к месту. Где-то совсем недавно я его уже слышал. Мне всегда казалось, что откидываются для удобства. На спинку кресла, например, или на снег, чтобы смотреть на звезды.

Сидя в темном кабинете, я как-то по-особенному ощущал происходящее вокруг движение времени. Новая лампочка зажглась, и я

зажмурился от резкого света. Было неприятно. Через мгновение и она, сверкнув, потухла. Я вздрогнул. Мне неожиданно пришло осознание, что это моих рук дело, а точнее, головы или чего-то там, в голове. Я где-то смотрел видео, там говорилось, что в советское время проводили такие эксперименты с электричеством и тухнущими лампочками. Не помню, правда, где.

* * *

Выйдя от врача, я пошел по сплетению серых школьных коридоров. Школа располагалась в нескольких зданиях, соединенных длинными извилистыми коридорами — «тянучками» — так мы их называли. Приходилось подолгу переходить из здания в здание чтобы добраться до следующего урока. Мир как будто потерял часть цветов: стал бледно-розовым и пурпурным. Он и раньше был не ахти какой, а теперь совсем посерел и сузился, как бетон окружающих стен. Я шел и думал: что случилось с Савиной? Как это возможно? У меня снова возникло ощущение, что я как-то к этому причастен. И тут я вспомнил свои последние слова: «Я хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни» тихо проговорил я еле слышно. Я остановился около плана эвакуации, висевшему на стене — «Я хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни», всё повторялось раз за разом. Мне было мерзко и противно от самого себя. Неужели это моих рук дело? Ну, то есть, не рук, а слов. «Неужели это моих слов дело», — тихо прошептал я, фраза какая-то глупая вышла. «Нет, нет, нет» — отгонял я от себя эту мысль. Я смотрел на план школы и воображал, как школа начинает гореть, и ученики в ужасе и панике мчаться туда-сюда, врезаются друг в друга и орут. В финале, конечно, все сгорают, оставляя лишь горсть серого пепла, такого же серого, как цвет окружающих стен.

Я услышал тихие звуки фортепиано из кабинета музыки, подошел к двери и стал слушать. Иванесса Ивановна пыталась вклинить в наш серый мир язык гармонии. Но красоты музыки мы боялись, как огня. Мы издевались над скрюченной старушкой-преподавателем, даже не пытаясь ее понять. Я заглянул в замочную скважину и увидел печально сгорбленную женщину за фортепиано. Ее движения были крайне порывистыми и дерганными. Я сел на пол рядом с дверью и задумался, оглядываясь по сторонам.

Мою школу можно было описать одним словом: цемент. Лица как цемент, мысли как цемент, в основе — ветхие, разваливающиеся конструкции учителей. Их мы воспринимали с какой-то жалостью: о каком авторитете у учеников можно говорить, если им плевать на себя? Длинные серые коридоры с потрескавшейся советской облицовкой. По утрам тут давали кашу, в обед — жидкий суп. Какие люди могут здесь вырасти? Какие

мысли могут родиться в подобных местах?.. Никак не получается в этих мрачных кабинетах открывать себя и остальных, рождать радость и жизнь… А финал вышедших отсюда — полная пустота и слияние с окружающей серостью. Ведь пространство вокруг — это затвердевшая мысль всех живущих здесь. И мысль эта сродни черной дыре. Как можно в этой дыре учиться любить, прощать, надеяться и верить в себя? Снаружи блеклых стен такая же блеклая картина, как и внутри. Да и наружи никакой и нет, есть только ты и твои серые стены непонимания. И мы, ученики, в конечном итоге обречены превратиться в этот бетон. Который внутри себя содержит лишь серую спрессованную пыль и пепел нереализованности.

Я услышал шаги: они разносились по коридору гулким эхом. Скоро звонок с урока, вспомнил я. Надо бы свалить из школы до звонка. Я поднялся и поплелся по коридору к раздевалке. За углом меня неожиданно кто-то схватил и толкнул туда, где когда-то была кладовка для спортивного инвентаря: лыж, мячей, коньков (помню, даже байдарка когда-то лежала, пока кто-то в ней не проделал дыру). Я судорожно озирался, отбиваясь. Но в комнате было темно, и эта темнота будто наваливалась на меня то с одной, то с другой стороны. Было ощущение что вся комната кишела людьми. Они тихо перешептывались, толкали и пинали меня.

Впереди загорелся фонарик на телефоне, и передо мной поднялся Столб, он указывал на меня пальцем.

— Из-за него умерла Савина. Во всем виноват он. Это он посадил Савину в машину и, разогнавшись, заехал в воду. Мы не смогли ее вытащить. А этот ссыкун просто свалил. А потом боялся показаться и сидел дома, как последняя баба.

Я понимал, что он врет, наговаривая на меня, но не стал спорить. Ведь именно я огласил ей приговор, сказав «исчезни». И она исчезла. В этом я был уверен.

Свет от телефона потух, и всё вокруг снова пришло в движение. Меня снова начали бить и пинать, а я вспоминал слова из письма. В этот момент я неожиданно представил, что это Савина писала мне с небес в том найденном мною письме, из места, где ей сейчас явно лучше, чем мне здесь. Оттуда, где звезды похожи на рассыпанный сахар, а вокруг мягкий и пушистый снег. Кто-то включил свет. Это был Крот. Он стоял и смотрел на меня.

— Хватит, — твердо сказал он.

Столб напоследок взял меня за шкирку и толкнул к стене.

— Теперь тебя это ждет каждый день, недоносок, — прошипел он.

— Я хочу, чтобы ты исчез из моей жизни, — тихо, но уверенно прохрипел я.

— Чо ты сказал? — Столб подошел и схватил мой портфель. Я смотрел на него так же прямо, как и на Савину в прошлый раз.

— Я хочу, чтобы ты исчез из моей жизни, — сказал я еще громче.

На долю секунды я увидел взмах кулака и уже в следующее мгновение ощутил себя на полу, рядом валялся рюкзак и выпавшие из него тетради и учебники. Во рту появился вкус крови.

Приподнявшись на локоть, я смотрел, как мои обидчики убегают. Затем медленно поднялся. В кабинет ворвался Сансаныч — учитель физкультуры. Голову немного кружило, и я сел на подоконник с закрашенным окном переждать. Он сел рядом.

— Почему ты это им позволяешь?

Я не знал, что ответить. У меня с детства было плохое здоровье, и развивался я медленнее остальных. Но это было не более чем оправдание. Просто когда-то, когда я был совсем мелким, родители пытались балансировать: работали, ругались, пили, надолго уезжали, передавая меня бабушкам и дедушкам. И в итоге остался я — человек, не находящий опоры ни в ком и ни в чем.

— И хотел бы не позволять. Но не могу.

Я слез с подоконника и стал молча собирать учебники и закидывать их в рюкзак.

— То, чего не можешь, всегда кажется лучше того, что можешь. В этом состоит идиотизм человеческой жизни.

Я нагнулся за учебником по биологии, он открылся на рисунке черепа, тот будто скалился, смеялся надо мной.

— Что такое пругекнабэ?

Я повернулся к Сансанычу и вопросительно смотрел на него. Тот с интересом посмотрел на меня.

— Это немецкий. Козел отпущения. Несчастная жертва для вечных страданий или избранный мессия, искупающий грехи всего человечества.

Я кивнул.

ИГРА САВИНОЙ

Я брел по улице, размазывая по лицу кровь. Домой идти не хотелось, и я решил пройтись по длинной дороге через ручей и улочку, состоящую из небольших трехэтажных домов, переделанных из казарм. Передо мной на дороге несколько ребят из нашей школы толкали мопед, пытаясь завести. Я решил свернуть в сторону, чтобы не попасться на их пути.

Я шел и думал о смерти. Что значит умереть? Как сознание может кончиться, как можно перестать существовать, прекратить мыслить? Я не мог понять, как может исчезнуть Савина. Ну, то есть, не ее тело, а скорее ее мысли, желания и цели. Вся она целиком. Мне почему-то казалось, что мыслю не я сам, а вся вселенная вместе с родителями, друзьями, домами, знакомыми, собаками, кошками, дорогами и деревьями является частью этого процесса. Всё это как бы мыслит мною. И все мы сейчас в этот момент пытаемся понять, что же такое смерть. И не можем.

Я шел через дворы по разбитой бетонной дороге, она была вся в трещинах, через которые повсюду проросла трава. Говорили, что этими бетонными плитами укладывали военные трасы, чтобы оперативно привозить или вывозить танки, ракеты и прочее в случае неожиданного начала войны. Неожиданного начала войны. Эта фраза меня сбила, мысли стали скакать, не находя опоры. Спереди из небольшой рощи выглядывала разноцветная детская площадка с жуткими фигурами, самопально сваренными из каких-то металлических коробов, пружин, дисков от колес. Это были улыбающиеся лица с поплывшими глазами и ярко-красными ртами. Я никогда не видел детей на этой площадке, я и сам в детстве боялся этих уродцев, как огня, и обходил этот двор стороной. Я дошел до качели с облезшей краской на деревянных перекладинах и, сев на нее, стал раскачиваться. Я сидел и смотрел на зажигающийся в окнах свет. На улице понемногу темнело, а я качался на скрипучих качелях, и было ощущение чего-то странного, происходящего вокруг и вне меня. Святящееся, но уже достаточно потемневшее небо наваливалось сверху, а темная земля зажимала снизу, пуская через меня свои токи.

От рощи раздались шаги, и я увидел темный силуэт, который шел прямиком в мою сторону. К соседним качелям подошел Крот и сел. Он молча стал раскачиваться. Я удивленно смотрел на него. Затем он достал платок и протянул мне. Я взял платок и обтер лицо. На белой ткани отпечатались бурые пятна.

— Разговор есть.

Крот порылся по карманам и протянул мне сигарету.

— Возьми. Но курить здесь не будем. Тут могут быть дети. Я уважаю их права.

Его тон не подразумевал возражений, это был приказ. Я взял сигарету. Мы поднялись и пошли за дом. Крот достал коробок спичек и, чиркнув, зажег одну. Он держал между двух пальцев спичку и смотрел на огонь. Затем протянул мне. Я поднес сигарету, она загорелась и стала тлеть красной точкой.

— Ты, наверное, хочешь спросить, чо на самом деле случилось с сеструхой?

Я кивнул.

— Я, если честно, сам нифига не понял. Мы праздновали и малость поднабрались, ну, ты помнишь. Сеструха уселась на крыше тачки нашей, ну, она такая, для нее это норм. Еврейка типа замерзла и стала ныть, что домой хочет. Она залезла в тачку и включила гирлянду. А потом, говорит, слышит звук, что типа падает что-то на крышу, она даже промялась малость и стекло треснуло. Сова говорит, что типа видел, как сеструха встала на крышу машины и стала светить фонарем куда-то наверх. Потом он говорит, что она типа подпрыгнула и зависла в воздухе. Хрень полная. И, повисев так какое-то время, просто рухнула на машину, и всё. Типа конец. Ну, мы офигели дико. Мы решили посадить ее в машину и столкнуть в реку типа. Потому что пиздец испугались. Такая фигня.

Крот затянулся сигаретой.

— Ну я как-то не верю, что она типа того…

Крот почему-то всячески избегал слова «умерла».

— Это всё в ее стиле типа. Она же типа такая, себе на уме… И «того» она тоже типа по-своему сделала…

Крот отвернулся и пошел в сторону парка. Мне показалось, что Крот немного трясется. Я шел следом и молча нес сигарету. Через какое-то время Крот вытер лицо и повернулся.

— Слушай, ты на самом деле вроде неплохой парень. И мне типа неприятно, чо с тобой делает этот дебил. Но он просто отбитый. Сам боится, поэтому такой. Я с ним поговорю.

Крот натянул на голову капюшон и пошел в сторону, утягивая меня за собой. Мы шли по узкой тропинке. Крот шел чуть впереди. Мы вышли на центральную улицу: электронные часы над «Сбербанком» показывали семь вечера. Миновав улицу, мы дошли до перехода в деревенскую застройку и сошли с бетонки на темную землю. Крот уже закуривал вторую. Моя же сигарета, дойдя до фильтра, погасла.

— У моей сеструхи с детства какая-то мутная игра была — типа оставлять какие-то вещи, записки, еще что-то в разных щелях, отверстиях, заброшенных домах, и забирать в других. Это сложно объяснить, я и сам как-то это не понимаю… Но в этом была какая-то понятная ей схема типа.

Мы дошли до вечного огня, потом перешли в растущую рядом березовую рощу и, пробиваясь через ветки, двинулись куда-то вглубь. Вокруг валялись груды разноцветного мусора, а рядом с покосившейся лавкой лежал целый склад стеклянных бутылок. Спереди росла огромная сосна, наверное, в два-три обхвата или что-то такое… Около ее основания Крот нагнулся и засунул руку в небольшое расщепленное отверстие. Порывшись там, он достал оттуда мятую сложенную надвое бумажку и протянул мне.

— Она всюду их оставляла. Но прикол в том, что все они обращены к тебе.

Я удивленно уставился на Крота, взял мятый листок и сжал в руке.

— Это всё, что я хотел тебе показать. Бывай.

Он протянул мне руку. Какое-то время я на нее просто пялился, но в итоге неуверенно пожал ее. Крот пошел в сторону центра, а я — во дворы.

* * *

Я не хотел идти по центральной улице: в нашем маленьком городе все друг друга знали и каждый был какой-нибудь папиной троюродной сестрой или маминой коллегой. Я сел на скамейку возле подъезда пятиэтажки, точной копии дома, где живу я, и развернул записку, которую всю дорогу держал в руке.

«По долам, по краю рек мы устроили побег. Пока ты наматываешь свои круги, я хочу рассказать тебе об одной необычной игре. Называется она “бег”. Основной ее смысл — убежать из своей головы в чужую. Я очень часто это делаю, бывала и в братовской глупой башке, и у мамы с папой, и у Леры-Валеры, короче, но там сплошные шмотки и парни. И вот,

наконец, я добралась до твоей. И офигела. Я будто оказалась в своей башке, даже лучше. В твоей мне, короче, комфортнее всего. С этого момента я постоянно торчу в твоей голове, и во время пробежки, и в другое время. Мне кажется, что ты один такой. И сейчас я где-то там, внутри».

Я свернул записку и уставился на окна домов. Кое-где не было занавесок, и я выхватывал частички жизни. Вот бабушка готовит что-то в большой кастрюле, пробует ложкой, помешивает. Вот кто-то сидит на диване с включенным телевизором и не шевелится. Вот подросток, согнувшийся за компьютером. Я собирал воедино этот калейдоскоп человеческих жизней и думал о письме Савиной. Ее, выходит, уже нет, но она в моей голове. Получается, сейчас она общается со мной даже больше, чем во времена, когда была рядом.

Со стороны частного сектора к моей скамейке подошла крупная женщина с баллоном пива в полупрозрачном пакете. Она была одета в одно из тех платьев, что так похожи на домашний халат, но халатом не являются. Я подвинулся, и она села рядом. Она пристально посмотрела на меня.

— Ты чо та-а-кой разу-крашенный?

Я пожал плечами и не ответил. Женщина подождала секунд тридцать, будто что-то прикидывая в уме, и спросила:

— Долго тут си-деть будешь? Да и как у те-бя дела?

Я посмотрел на нее. Ее голос был нечетким, она как будто не разделяла слова и проглатывала окончания. Поэтому я не сразу понял, что она говорила.

— Плохо, — чуть подумав, сказал я.

— И у меня пло-хо.

Женщина вытащила из пакета пиво и предложила мне. Я сделал глоток, пиво было горькое и невкусное.

— Как зо-вут?

— Виктор, — я всегда называл это имя, когда не хотел знакомиться по-настоящему. Женщина сказала, что это очень мужественное имя, но сама не представилась. Она сделала несколько крупных глотков из баллона и уставилась куда-то наверх, будто на небо. На вид она была совсем трезвой

и серьезной. Она перевела взгляд и посмотрела мне в глаза, коротко, но как-то глубоко и резко.

— Вишь ту хату?

Ее палец указывал на одноэтажный кирпичный дом через дорогу, где начинался частный сектор.

— Там мой муж. Спит. У мужа на шее толстая цепочка. Золотая. Дорогая. Он спит на диване. Вещи рас-киданы… Рожа красная…

— Ага.

— Он крепко спит. Малолетний уголовник сидит за своей орущей штукой. Житья от них нет. Бесят.

Я кивнул, очень не хотелось ввязываться в диалог.

— Дава-ай я сейчас пойду и убью его. Я спрячу труп, а ты заберешь себе золот-тую цепочку и прода-ашь. Сечешь?

Я опешил от услышанного.

— Мне покараулить, что ли?

— Нет, я его убью, а ты подождешь, посидишь здесь, потом принесу тебе толстую золот-тую дорог-гую цепочку. Согласен?

Я не ответил. Женщина была как будто карикатурная, и всё, что она говорила, воспринималось не особо серьезно. Она снова глотнула пива из баллона, оставила ее на лавке и направилась к дому через дорогу.

— Жди зде-есь, — сказала напоследок.

Я давился пивом, пока она не зашла в дом. Окружающая тишина давила, и вдруг стало жутко страшно. Какое-то время я продолжал сидеть и смотреть на дом: там зажегся свет, появилась чья-то тень. Я поднялся и подошел к ближайшей машине и со всей силы пнул ее по колесу. Машина заорала сигнализацией. С балкона кто-то высунулся и что-то невнятное крикнул. Я быстрым шагом пошел в противоположную от панелек сторону, на свою Октябрьскую улицу. Меня остановил высокий дед в рабочем костюме:

— Сколько лет-то? Пиво-то не рано пить?

Оказалось, я прихватил с собой баллон пива, который оставила женщина. Я засунул пиво в ближайшую урну на остановке и пошел к дому.

Проходя мимо одного из домов, я издалека увидел колодец, стоящий во дворе лет сто. Им уже давно не пользовались, от него остались только каменное основание и гнилые доски. Я подошел и сунул внутрь голову, оттуда воняло болотом. Я увидел снизу воду, в которой отражалось светлеющее небо и звезды. Я закрыл глаза, сосредоточился и громко сказал: «Савина». Слово отразилось от стен. Тогда я еще раз собрался и заорал «Савина!» — и так несколько раз. Слово отражалось от стен, создавая какофонию звуков. Скоро я услышал её тихий рассказ. Он лился очень тихим шепотом, который практически невозможно было различить. Это была не привычная речь, но после неё я все понял. Савина сказала, что я — это смерть.

ДОМ

Дома снова было холодно и тихо, пьяный отец сидел за кухонным столом с привычным недоеденным супом и надкусанным хлебом. Я, как всегда, тихо пробрался в комнату и включил комп. Когда он проснулся, Мама, конечно, снова устроила ледовое побоище: била отца тапком, кричала, что разведется, выкидывала его книги и газеты из окна, а я в очередной раз пытался выбраться из осажденного врагами замка. Но раз за разом меня ловили враги и отправляли в карцер.

* * *

Через пару дней, стоя в очереди в магазине, я услышал, что 17-летнего парня, ученика 11 «А» класса, Антона Столбова, пьяная мать задушила золотой цепочкой. Потом вместе с отцом они хотели спрятать тело, но не нашли ничего лучше, как просто оставить его на ступеньках в коридоре, где его и нашли соседи. Люди из очереди сочувственно перекидывались фразами, а меня охватил такой ужас, что я оставил продукты и весь день гулял, осмысляя силу своего слова: неужели слово — это такое оружие, которое может лишать жизни?

Несколько последующих недель единственное чем я занимался — это поиском новых посланий Савиной. Одно из них меня очень удивило. Она писала, что солнце растопило весь снег, и теперь её мир — это вода, а единственная её суша — это воспоминания обо мне. Так странно быть для кого-то сушей. Островом в огромно-огромном мире.

* * *

Постепенно я настолько абстрагировался от реальности, что просто перестал ее замечать. Если кто-то выводил меня из этого моего мира полусна, я уже скорее более автоматически говорил ему «исчезни». Я постоянно перечитывал письма и бегал, бегал, бегал, обрастая скафандром нечувствительности. Постепенно я заметил, что только два человека всё еще имеют надо мной власть и выводят меня из равновесия. Мама и папа. Отец продолжал устраивать для меня пробежки. Ведь пробежки были нашим с ним временем. Совместным ритуалом. Единственной возможностью коммуникации, совместного действа. А мать заполняла все остальное время обрекая меня на постыдную заботу, сквозящую молчаливым укором.

* * *

В очередной так похожий на остальные день я шел домой и около подъезда встретил спящего на лавке отца. Он возник, как страж между мирами. Огромный и страшный. Как сфинкс, который появляется лишь однажды, чтобы загадать детскую загадку со взрослым ответом. И этой загадкой будет вся отцовская жизнь, которой для чего-то дан я. Я попытался поднять отца, но сил не было. Он посмотрел на меня мутными глазами и сразу закрыл их. Я стал тормошить его за плечо. Отец зарычал, уже не открывая глаз. Я обреченно сел рядом: надежды дотащить его не было. Я, не моргая, стал пялиться на остатки солнца. Оно уже почти зашло и светила из края вселенной своими последними лучами на щербатых стенках нашей панельки с облупившимися краями и надписью «я ненавижу весь мир, но люблю Леру». Через секунд тридцать солнце почернело. Я перевел взгляд, все здание искрилось. Наша панелька как бы украшена маленькими стеклянными светло-бирюзовыми квадратиками, которые постепенно опадают, оставляя голые грязно-серые цементные стены с редкими вкраплениями этих самых стекляшек.

Свет отражался от них и расходился разноцветными бликами.

Из соседнего подъезда вышла Лера-Валера и подошла ко мне. Оказывается, всё это время она наблюдала за мной с балкона. Она жила тут, в соседнем подъезде над нашей квартирой и была старше меня года на три. Она всегда была очень красивая, а сейчас ещё в своих розовых лосинах особенно. Их ей откуда-то привезла мать, которая работала стюардессой и постоянно привозила что-то интересное или необычное из других стран. Так странно, что она тысячи раз улетала отсюда, но всегда возвращалась. Все девчонки в школе завидовали Лере-Валере, а парни проваливались в свои фантазии. И вот она подошла ко мне. Сразу стало страшно и стыдно.

— Помочь?

Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то из знакомых видел меня в момент моей абсолютной беспомощности.

— Не нужно.

— Да не парься ты. У меня то же самое с батей… Как-то раз он пошел за мной в школу и заснул бухой прямо на полу возле нашего класса. Вот это был настоящий позор!

Она присела и, взяв отца под руку, стала поднимать. Я, спохватившись, тоже взялся за другую руку. Отец снова приоткрыл глаза и улыбнулся. Всё время, пока мы шли, я думал, что он проснется и что-то грубое скажет, как обычно. Но отец хмурился, бормоча что-то себе под нос, но ничего внятного не говорил.

— Ты чего, всё время такой хмурый?

— У меня просто веки опущенные. Я где-то читал, что со стороны это выглядит хмуро…

Мы поднимались по ступенькам, и я начал рыться по карманам чтобы найти ключ. В этот момент отец приоткрыл глаза и заметил Леру-Валеру и начал пытаться чуть пританцовывать под орущую из соседского этажа музыку и сжимать руку, за которую она его поддерживает. Мне снова стало жутко стыдно. Я стоял весь красный и судорожно пытался выловить из кармана ключ. Лера-Валера какое-то время ждала, глядя на мои неудачные попытки, и встала так близко, что я ощутил запах ее духов. Она засунула руку в мой карман и, покопавшись там, выловила ключ. После этого, улыбаясь и глядя прямо в глаза протянула его мне. Я сглотнул и открыл дверь. Но она продолжала стоять и смотреть на меня.

— Слушай, тебе же никто плохого не хочет, почему ты всех как-то боишься? Как будто там, в детстве, побили, или цыгане воровали, или изнасиловали, или чо там еще бывает? Если кого-то боишься, нужно, типа, идти на страх. От тебя отстанут.

Выбежала мама. Не выдержав, стала отвешивать пощечины отцу. Я закрыл глаза и готов был провалиться под землю.

— Мам, уйди отсюда. Исчезни!

Отец повалился на крыльцо. Лера-Валера стала помогать поднять его. Я оттолкнул ее.

— И ты исчезни!

Я снова ее толкнул.

— Отстань от меня! Отстаньте все от меня!

— Слушай, ты реально просто конченный. Обозленный на всех.

Лера-Валера окинула меня презрительным взглядом и пошла в сторону. Я же убежал в свою комнату, хлопнув дверью, и там заперся. Сбивая в кровь ногти, я стал сдирать обоину, оголяя нацарапанную на стенке птицу. Потом я просто лежал и смотрел на неё, потом — через окно на тусклое солнце.

* * *

С того момента я стал проклинать всех. Во мне окончательно обмерло всё, что до этого было живо. Лишь редкое ощущение реальности мне давали письма Савиной, которые я стал находить повсюду: в сточной трубе дома, в подвале между кирпичами, в стеклянных бутылках, зажатых ветками в нашем водоеме. Отец по-прежнему заставлял меня бегать каждый вечер. Я принял свою силу, и мой город постепенно стал редеть. Людей становилось все меньше, а кладбище росло. Я считал себя зайчиком, прыгающим по чужим огородам и избавляющим мир от ненужного. Я ощущал колоссальную озлобленность и с каждым новым таким случаем моя злость росла. Я будто подкармливал своего монстра, а он в ответ тянул когтистыми руками меня в свою тёмную нору. Сначала была обида, страх, отчаяние и наконец злость. Я действительно становился королем кладбища, и всё окружающее пространство, как и люди, постепенно умирало, распадаясь на фрагменты.

То ли от истощения, то ли от нежелания воспринимать окружающее и ежесекундного состязания с реальностью мои пробежки всё чаще заканчивались обмороками. В момент, когда воздуха совсем переставало хватать, а из легких шли сплошные хрипы, я падал и лежал так, приходя в себя, хватая руками жухлую траву. Иногда в попытке вздохнуть на меня находил ужас. Но после наступал момент, когда организм словно просыпался, и дыхание мое нормализовывалось, и я, как выплывшая из водных глубин умирающая рыба, судорожно хватал ртом воздух. Пытался втянуть его в себя полностью. Без остатка. Я, как жертва вечных страданий и палач окружающего мира, искупал грехи всего человечества, обрекая на смерть и забвение всё, попадающее в поле моего зрения. Ведь у каждого есть своя функция в этом большом мире, и моя функция такова. Я когда-то читал, что смерть люди привыкли представлять как угодно: женщина с косой, скелет, огнедышащий и рогатый мужик. Всё это не то

и как-то устарело, что ли. Теперь смерть — это я, простой субтильный подросток, лишенный любви и озлобленный на весь мир.

Рядом со свежими могилами я часто встречал Гробовщика. Каждый раз, увидев меня, он останавливался и отдавал мне честь, как военные на параде. Я просто кивал и бежал дальше.

* * *

И вот настал день, которого я боялся больше всего. Отец пил водку из горла и слегка покачивался, в руке держал ружье.

— Чо встал, беги давай.

Он выстрелил в воздух, а я всё стоял и смотрел на него.

— Что, не мужик? Каши мало ел? Давай, давай побежал.

— Исчезни, — шепотом сказал я.

— Что ты там себе под нос бубнишь?

— Исчезни!

— Что-что не слышу. Говори, как мужик.

— Исчезни! — заорал я, и тут же передо мной появился деревянный крест. И я остался один в полной темноте.

Я шел между крестов. Вокруг плотнел мрак, на растерзание которого я и остался. Он обернулся вокруг моей шеи теплым и пронизывающим коконом. Сегодня наступила тишина, до того оглушительно звеневшая дробящейся резью моих слов, распадавшаяся на шепот листвы и птичьего говора. Заводи сновидений, раньше таившие размноженный, мучительно повторенный облик пустоты, теперь он очистился, выстраданный, обратившийся в зеркальную гладь. Я уже не искал себя в окружающих лицах, не вздрагивал, встретив случайно свое отражение в глазах другого. Я только ждал, когда пройдет год, двадцать, тридцать лет, чтобы не узнать себя вовсе. Я проваливался в темноту, и дни сменялись месяцами и годами. Кто из нас не становился хоть ненадолго случайным свидетелем самых жестоких и мрачных проявлений своего отчаяния, изощренных форм злости, растянутой во времени? Для меня это было необходимым, я каждый день ходил на казнь. Я и приговоренный, и палач. Я отсекаю от себя свои же живые части, чтобы оставить злость и отчаяние. Растворившись в них без остатка.

ЛЮБОВЬ

Наступил день, когда я взял двойной листок и написал письмо Савиной. Я писал, что люблю ее, и что именно ее письма, многократно перечитанные, возвращают меня к жизни. Я повел листок на прогулку в безвременную бесконечность, уговорил сесть в пустую электричку и приехать со мной на до боли знакомую станцию. Я пошел мимо дома женщины синих цветов, но дома не было. Вместо него были обгорелые бревна, грязь и пепел. Сквозь обгорелые балки пробивались ярко-синие цветы. Я шел через болезненно знакомые места.

Примерно так я представлял свою смерть. Иду я по белому полю, и дороги никакой нет. Возможно, это просто поле снега, и нет вокруг ни единой темной точки, на чем можно было бы остановить свой взгляд. Я иду, не цепляясь ни за что, и в голове — абсолютная пустота без единого образа. Я один выделен границами из этого однотонного пространства. Я совершенно не знаю, на что делать опору, и опоры этой совершенно и нет. И так продолжается до тех пор, пока я полностью не растворяюсь.

Я писал Савиной про всё случившееся после ее смерти, о том, что я просто купался в лучах ненависти и каждый мой день окунал меня во все грани этого состояния. Я шел по уже знакомой тропинке, а в голове была пустота. Круг замкнулся. Ящик был всё таким же ярким пятном в серости моих дней. Я открыл створку и положил туда свой свернутый листок, а вытащил из него маленький колокольчик. Последний раз в жизни взглянул на почтовый ящик с птицей. Забавно: есть вещи, которые мы осознанно делаем в последний раз, а есть такие, об обреченности которых и не задумываемся. Я позвонил в колокольчик и примотал его проволокой к чуть выпирающему гвоздю. Он сразу забренчал на ветру. Я развернулся и неспешно пошел обратно к станции.

В громкоговорителе на вокзале для товарняков прозвучал недовольный женский голос, разносившийся эхом по округе. Слов было не разобрать. Подъехал тепловоз, из него попрыгали рабочие в разноцветных жилетах. Человек сто, целая толпа. Я сидел на платформе и наблюдал за ними. Они перекладывали рельсы, сыпали камни и били молотами. Мне стало очень спокойно. Было видно, что они немногим старше меня: лет по 16, не больше. Они смеялись, толкались и таскали многокилограммовые рельсы, заливая их кипящим мазутом и не замечали меня. Хотелось бросится к ним, в их беззаботность. Но я стоял на пустом перроне, отсеченный от них рельсами, и мог лишь разглядывать их.

* * *

Вечером я ходил по пустому плацу бывшей военной части. Я пришел сюда по привычке, теперь мне было некуда бежать. Когда-то совсем молодых ребят здесь учили стрелять и ненавидеть врага. И я научился этому, еще не зная, что главным врагом для себя был я сам. Я шел по пустым комнатам и коридорам своей квартиры, и вдруг понял, что больше так не могу.

— Мама, — тихо сказал я. — Мама, я хочу, чтобы ты была рядом.

И в этот момент я услышал ее тихие шаги.

— Я всегда буду с тобой, как и все те, кто наполнял твое детство. Мы все — части твоего мира. Мы все — повторяющийся день твоего рождения. Мы все — размноженная секунда твоего первого вздоха и первой искры разума, — говорит она и идет мыть посуду на кухне.

Я сижу на стуле в своей комнате и смотрю на солнце через окно. Отец и мать, дающие жизнь. Раздвоенная основа жизни. Я и есть мать, постоянно моющая посуду, убирающая квартиру и дающая фундамент. Боящаяся расплескать переполняющую ее любовь и сохранявшая, как тайну, нашу связь. Я и есть вечно пьющий отец, форма самообмана и страха принятия мира, жестокого и прагматичного. Мира, в котором нужно лишать себя фантазии и возможности чуда, чтобы вклиниться в определенную роль. Я сидел, ошеломленный откровением, которое дало мне солнце. Я перевел взгляд на стенку. Но бликующее пятно, оставшееся на моей сетчатке — темный образ, наложившийся на то, что я видел перед собой. Я как будто катал по комнате темный шар. Из одного угла комнаты в другой. И так снова. Птица, нарисованная на стене, засветилась и, вспорхнув, унеслась в окно. Я прошел по длинному темному коридору и зашел на кухню. Я взял чашку из рук матери и набрал в нее воды. С этой водой я пошел на улицу. Я ходил между крестов и могил, поливая их водой из чашки, данной матерью.

Дедушка, расскажи мне историю о войне. Дедушка медленно поднялся и положил свою тяжелую руку с перебитым указательным пальцем на мое плечо.

Савина, ты научила меня любви. Ты пока этого не понимаешь, но просто знай это. Мы непременно поможем друг другу лучше понять нашу жизнь. Савина появилась передо мной и с обидой отошла в сторону.

— До тебя так долго доходило, просто жесть. Все письма я оставляла тебе, чтобы ты, наконец, понял, что тебя любят, и полюбил себя.

— Я понял.

Я прошел по всем могилам, воскрешая всех до последнего человека, и подошел к могиле отца. Папа, прости меня, ты просто не хотел, чтобы я стал таким, как ты. Хотел лучшей жизни для меня. Я непременно стану. И буду другим. Я буду жить свою жизнь. Содержание получит новую форму, и эта форма — я. Я знаю, папа, что эту птицу нарисовал именно ты. В память о той свободе, которую ты так бережно хранишь. Всю свою жизнь отгораживаясь от реальности, которая тебя тяготит.

* * *

Исхлестанный ливнем, набрякший влагой отяжелевший город, мокрые аллеи, дребезжание прозрачных, синих, как лед, стекол, красные тени, неторопливо ползущие по окружающим лицам, тусклые огни многоэтажек, глаза в сизых кругах, далекий грохот отходящих товарных составов, одни и те же дороги, скрещивающиеся и сворачивающиеся в неразбираемый клубок, застланный дождем срывающийся шепот, пробитые несводимой дрожью руки и голоса, треск и шепот несказанного — всё это я. И всё это здесь.

* * *

Дальше были много-много уходящих минут и дней. Я много думал о том, что такое смерть и любовь, но так и не понял этого. Я снова каждый день бежал до кладбища и обратно, борясь со смертью. И надо мной снова стоял отец, грозный и величественный. Но теперь я бежал не один.

Небо меняло цвета, а свет, переливаясь, стекал по щербатым бокам рассыпающихся от старости двухэтажек. Нагретый воздух казался сухим, как желтая пыль в протянувшихся по земле стрелам заката, она взметалась и опадала от моего бега. Мимо проносились панельные дома и новые города, выросшие над согнутыми спинами бараков. От крыш домов расходился распятый нотный стан проводов, тонкими линиями разрезающий небо, а над ним кружились, опускаясь и взлетая, спутывая невидимые пунктиры траекторий, черные точки ласточек. Я смотрел на греющиеся на солнце панельки, и на птиц, и на людей. Я остановился, когда последний луч заката попал в мои глаза. Гробовщик снова подошел ко мне. Он повел меня к свежевырытой яме. Мне стало страшно, и я развернулся и побежал в глубь леса. Он всё сгущался и сгущался надо мной. А я всё бежал и бежал…

(продолжение следует)

Женя СКОБИНА
Родилась в Москве. Люблю Кадзуо Исигуро, Харуки Мураками, Дэвида Митчелла, исландские саги и собак.

НОСТРАДАМУС 2.0

Ворота заскрежетали, как кости в дробилке. Фауст поморщился. Зверь в загоне как будто стал больше. Он был здоровый, как бык, и тяжело дышал. «Этого не может быть», — подумал Фауст. Ведь это не из-за того, что он на нее пялился. Девица была симпатичной, но и всё тут. Почему так бывает, когда боишься, что нечто пойдет не так, оно так и идет: криво, косо и вразнос. Он присмотрелся еще раз, зверь тяжело ворочался и бил копытом. Давно пора было чистить стойло, но этого гиганта испугались бы даже матадоры Хемингуэя. Мышцы ходили под черной, туго натянутой кожей. Фауст представил себе, что под его лоснящейся черной фактурой ползают скарабеи, как в ужастиках, которые смотрели иные клиенты перед сном. Столько лет живут на свете, а никак не возьмут в толк, что нельзя смотреть, как свежует Ганнибал Лектор свои жертвы, и есть жирное на ночь без последствий.

Нострадамус писал, что черный бык — это агрессия, страх и ненависть. С чего бы хорошенькой девочке — метр шестьдесят пять, двадцать три года, сорок пять килограммов, стул нормальный, глаза голубые, а рот бантиком — встречаться во снах с эдаким чудищем. И ведь каждую ночь он ей снится, уже шесть недель кряду. Фауст сверился с картой: да, так и есть, всё верно. Тот факт, что он помнит всю информацию без дополнительной сверки, лишь подтверждает, что он увлекся этой девчонкой. Фауст поплелся по темному коридору, в вольерах с обеих сторон ворочались сны: темные, страшные, радужные, синие, зеленые и в пятнышко. Они парили, дребезжали, мяукали, квакали и шумели, как море в грозу. Фауст надел наушники

и включил «Трагическую симфонию» Густава Малера. Композитор, подходя к своему шестому творению, был полон мрака. Фауст встал у телефонной будки, трижды мигнул свет.

— Алло, это офис? Говорит авгур 356, я заметил небольшие отклонения у экспоната, хотел бы получить консультацию. Как срочно?

Фауст исподлобья посмотрел на беснующегося в загоне черного быка.

— Как вам сказать. Ну денек еще потерпит, а потом потребность исчезнет, как и все наши вольеры. Субординация? Дисциплина? Я ничего не нарушаю. Уж и пошутить нельзя, совсем свихнулись там наверху. И к тому же какие тут шуточки! Фауст утер с лица зеленые сопли черного, как мазут, животного.

Авгуру 356 не хотелось подниматься в офис, он прекрасно понимал, что выйти на слепящий свет из темного подземелья не так-то просто. Фауст постоял еще у вольера с экспонатом, нажал на экране несколько цифр и посмотрел на спящую девушку. Миловидная, даже красивая, на такую посмотришь, захочешь найти изъян и не найдешь. Вот какая красавица! Посмотрела быка, а теперь спит без сновидений, что с ней сделаешь? Быстрая фаза сна миновала.

Еще один сонник, если ему память не изменят, присноупомятнутой Ванги, утверждает, что сон о черном быке символизирует сильного мужчину, заступника и искусителя. Фауст напряг мышцы, а потом расслабил. «Чего это я, в самом деле, совсем скис. Не к добру это», — подумал он, играя грудными мышцами.

Офис располагался наверху, эти серые стерильные кабинеты с ворохом бумаг Фауст откровенно недолюбливал. Он никак не мог взять в толк, зачем столько целлюлозы, когда всё оцифровано, когда компьютеры, пускай не последних серий и не первых моделей, а как в фильмах 80-х — желтый пластик, дуры размером с валун.

Начальник их — Гней Помпей — был большим любителем старины. Офисные сотрудники подшучивали, хорошо, что их босса не зовут Красс, вот тогда дело было пахло бы совсем дурно. Фауст не мог понять, чем Помпей лучше Красса: одному голову отрезали

коварные друзья, другого распотрошили с куда большей жестокостью враги. Впрочем, Помпея, если читать Плутарха, было всегда неизменно жалко. Во-первых, его любимая дочь Юлия сумела внушить любовь Цезарю. Видать, было в Помпее что-то человеческое, что и подружило этих олигархов. А, в-третьих, Магна, то есть Великого, предали, он доверился и был обманут подлыми египтянами. Красс же пал жертвой воинского просчета: он недооценил соперника. Это, и впрямь, если вдуматься, всегда выглядит гаже.

Фауст посмотрел на раздолбанный, пошедший трещинами планшет. Вот он узнает, услугами какой конторы по ремонту техники пользуется Гней, поотрывает им руки. Конечно, Фауст не собирался никому ничего отрывать, разве что во сне. На многое он был не способен, в конце концов, он авгур, и даже не оракул и уж тем более, не солнцеликий бог Аполлон. Многие из них давно покинули мрачную обитель, пещеру, дельфийскую дыру, и живут с людьми припеваючи. Фауст вошел в кабинет, где стояло десять одинаковых столов, за которыми сидели в пиджачках и галстучках оракулы. Он попытался за трещиной экрана разглядеть нужную цифру и пока разводил пальцы, воткнулся в стол Фриды.

— Чего у тебя? — спросила она.

— Ты номер 466? — щурясь и пытаясь соскрести трещину, спросил Фауст.

Фрида сунула ему под нос табличку.

— Дальше.

— А дальше вот чего, — Фауст сел на стул и убрал папки, которые загораживали от него оракула.

Не любил он эту Фриду, она всегда была заносчивой всезнайкой, а теперь, когда стала оракулом, и вовсе зазведилась. Если ему приходилось иметь с ней дело, она обращалась с ним как маленьким мальчиком. Не любил он ее, а всё потому, что раньше очень любил. Они даже почти поженились, но Фрида быстро пошла на повышение, а он так и остался авгуром. Ухаживать за скотиной — дело противное, но сидеть весь день в бумажках — удовольствие ниже конюшен, пусть и авгиевых. Фауст боднул коленом стол.

Фрида делала вид, что едва помнила его имя, а он не мог на нее смотреть без трепета второго века.

— Вот что, у меня черный бык растет, как на стероидах, — кашлянув для внушения, сказал Фауст. Фрида оторвалась от экрана, который заливал ее лицо светом, похожим на зеленый чай без бергамота, и спросила:

— Насколько велик?

— Уже в потолок упирается.

— Что же ты так долго? — Фрида отъехала на стульчике и, описав круг, вытащила из нижнего ящика папку.

Фауст хотел оправдаться и вымучивал из себя слова, но Фрида, сделав пометку, бросила карандаш и спросила:

— Кто наша клиентка?

— С чего ты взяла, что это женщина?

— Я ошиблась?

— Нет, — с вызовом сказал Фауст, но Фрида уже не слушала. Она отобрала его планшет и залюбовалась спящей девушкой. Она вернулась к своему техногенному динозавру, забила пальцами по клавиатуре, морщась, как будто нажимала на перевернутые кнопки.

— Студентка, комсомолка, спортсменка? — ядовито спросила она.

— Так теперь не говорят, — Фауст чувствовал себя неудобно, серые стены через невидимые щупальцы словно высасывали из него кровь.

— А как теперь говорят?

— Коуч, зожница и фитоняша.

— Да уж, — сказала Фрида и подозрительно ткнулась в кулак. — Фауст, это так убого. Блондинка, ты серьезно? Голубые глаза? 45 кг веса и нормальный стул?

— А ты чего хотела — раздраженный кишечник и парик?

— Немного декаданса, знаешь ли, не помешало бы.

— Отстань, делать-то чего, смотри, какой буйвол, того и гляди вырвется, он же всех отутюжит!

— И тебя первого? — Фрида выгнула бровь и как учительница посмотрела на Фауста. Авгуру показалось, что такой расклад оракула номер 466 устроил бы.

Фрида пожирала его глазами.

— Ладно, доложу начальству. Но мне даже не твой бык не нравится, а твой пыл. Ты слишком долго был авгуром, я думаю, без твоих протуберанцев не обошлось.

— Так, — сказал Фауст, положив руки на колени. — Протуберанцы — это научный тэрмин?

— Нет, научный термин, тень. Ты, Фауст, перестал сублимировать, ты вожделеешь эту женщину! Так научнее?

Оракулы оторвали головы от компьютеров и уставились на Фриду с Фаустом. Фрида кричала, а Фауст развернул плечи и стал еще крупнее.

— Иди к Магну, там разберемся, чье это либидо тучи собирает над островом блаженных.

— И прекрасно! — воскликнула Фрида и выехала на стуле в проход.

— Иди-иди, — сказал Фауст, сделал оскорбительный жест, а потом положил ногу на ногу. Он огляделся: все эти спирохеты в галстуках кололи его глазами.

Фрида с уважением на него оглянулась, поднялась и засеменила к начальству. Она была всё такой же мелкой, всё такой же толстой была ее коса, всё такой же круглой была ее попа. Фауст смотрел ей в спину ровно три секунды, потом отвернулся, подумал о сублимации и принялся рисовать быка на стикерах. Быки зажмуривали глаза, высовывали языки и раздували ноздри. Экран компьютера Фриды усеяли матадоры, насквозь проткнутые быками.

Фрида вошла в кабинет, где Гней Помпей толковал с оракулами. Стены переговорной были стеклянными, и Фауст наконец смог разглядеть аполлона. Гней был крупным мужиком с мордой Александра Македонского. Нос, как и у единственного сохранившего

оригинала, был отбит. Кто-то хорошенечко вмазала аполлону на заре юности. Гней стоял у доски с картой-рулоном, который он постоянно дергал, а тот постоянно раскручивался.

* * *

Они сели на станции «Серп и Молот». Экспресс был серо-голубой, а на его щеках красовались собачки. Фауст решил, что это такса, и ему на ум пришло забавный стих про таксу и бульдога. Такса была хитрой, умной и заставила старого чертягу с приплюснутой мордой двадцать раз обойти вокруг столба — смотать цепь, чтобы заполучить кость. Фрида с сочным звуком листала страницы, как будто отдирала кожу от апельсина. Фауст воткнулся в окно.

Мутное стекло с разводами были отличной рамкой открывавшемуся виду. Покосившиеся заборы, островерхие домики, злые собаки с добрыми глазами и горы мусора. Фауст и забыл, как выглядит реальность. Он уже лет десять изучал верхний мир через сновидения. Глаза быстро устали. Сны не бывают скучными, хотя, это, конечно, в какую фазу включать. Фазу медленного сна, когда человек спит крепко и не видит ровно ничего, Фауст никогда не смотрел, да и никто не смотрел, кроме аналитиков. Они говорили, что там ничего интересного нет. Их статистика не интересовала авгуров, как и людей не интересовало таяние ледников и повышение уровня моря. Фауст занялся подсчетом берез.

Березы Фауст любил беззаветно, они всегда напоминали ему невест. Невесты, он знал, — существа красивые, уверенные, что в этом мире живет только любовь и нежность. Фрида не была такой невестой, она была исключением, но невестой Фрида была ему куда приятнее, чем хмурая девушка в кожаной куртке и очках со складкой у переносицы, что сидела напротив. Она всегда всё знала, ни в чем не сомневалась, и это страшно бесило Фауста.

— Не сверли меня, — сказала Фрида так громко, что старушка, сидящая у прохода, вздрогнула.

— Не будь такой мнительной, ты же у нас Лариса Райснер, верно?

— С ума сошел! Я тебе дам Ларису, я Тэффи, понял?

Тэффи Фауст любил, и уж, конечно, Фрида не была Надеждой. Никакой император, будучи в своем уме, не приказал бы изобразить

ее на конфетах. Да и эта история, которую Фауст любил про Тэффи больше всего, никак не накладывалась на Фриду. Тэффи высмеивала каких-то дам в эмиграции, которые воздели на головы чудные с перьями шляпы, а потом, спустя неделю, забыла о своих смехуечках, и сама пришла вот в такой же шляпе. Нет, Фрида была революционеркой, это было ясно. Она была идейной, и именно на этом и погорел Фауст.

— Ладно-ладно, а я тогда кто?

— Ты будешь черным быком, — сказала Фрида, облизывая палец и направляя свои глаза, как два ружейных дула, на Фауста. — Ты ведь этого хотел?

— Мороженое: клубничное, пломбир, фисташковое, эскимо! Сухарики, чипсы и газировка. Пирожки горячие!

— Черноголовка? — спросила старушка у продавщицы.

— Никола, — отрезала женщина в тулупе. Руки погрузились в коричневой короб и извлекли запотевшую бутылку. Фауст залюбовался натруженными, с проступившими венами руками и вязанным драным свитером, который тут же напомнил ему фильм-прорыв нулевых. То, самое время, когда старые вещи внезапно стали ламповыми.

— Ты не можешь меня заставить, — сказал он, поворачиваясь к Фриде.

— Клубничное, — сказал оракул, протягивая сотенную. — Еще как могу, наша студентка, комсомолка, спортсменка сегодня идет к гадалке.

Фауст с подозрением посмотрел на Фриду. Она вонзила свои безупречные пираньи зубы в розовую замершую субстанцию.

— Так теперь тоже не говорят.

— А как теперь говорят?

— Энергопрактик, например.

— Нет, будь уверен, сегодня она пойдет к гадалке.

Фрида накинула на голову черный, идущий красными маками платок, и стала совершенно не отличима от ромейского народа.

— Тьфу, — плюнул Фауст. — Лариса Райснер!

— Тэффи, — поправила его Фрида и придвинула очки к переносице, оправа была единственным, что выбивалось из образа.

Она всё еще листала толстый гроссбух, из которого постоянно лезли листы. Листы летели в проход, старушка их подбирала, Фрида совала их обратно, а Фауст бормотал «благодарствуйте».

— Алена Свирдова, звучит, как сибирская язва, нет?

— Только на твой слух.

— Так-так, на твой, как игра на арфе?

— Что-то в этом роде, — буркнул Фауст.

— Хватит огрызаться, это же ты отменил свадьбу! — сказала Фрида, внезапно придвигаясь к нему и обхватывая его ноги своими коленями.

— Какой смысл мне было на тебе жениться, ведь ты стала оракулом? — сказал Фауст, раздвигая ноги так, чтобы колени Фриды соскользнули.

— Ты бы тоже мог, если бы захотел, — Фрида отъехала к окну и в свою очередь стала считать гаражи. Красочная летопись на подъезде к Москве повествовала о протесте молодости. Буйство красок становилось всё ярче, чтобы потом перед последним километром померкнуть в серых мазках дворников.

— Прекрати, тошно тебя слушать, — Фауст отвернулся к старушке. Она пила своего Николу и подслушивала.

— А твоя девица презанятная, — спустя минуту сказала Фрида. — Смотри, в детстве каталась на коньках, в юности бросила, увлеклась теннисом, вот откуда 45 килограммов. У нее мать балерина, это, конечно, многое объясняет, тебе просто необходимо восхищаться своей возлюбленной!

— Ты Помпею то же сказала?

— Не делай из меня стукачку, он же Аполлон, дельфийский бог, он и сам всё понял.

— Если он и Аполлон, то только Бельведерский. Это ты ему всё разболтала.

— Брось! Твоя красотка работает в косметическом салоне, деньги гребет лопатой, и ей стыдно, что она ездит на Гоа только потому, что спекулирует на разбитых мечтах и отчаявшихся надеждах. Ей тошно вставать по утрам, и она занимается благотворительностью. В свободное от инъекций и лазера время, разумеется.

— Я знал, что внутри она очень добрая, — сказал Фауст, и его снова заинтересовали березки.

— Ты же понимаешь, что это она взрастила монстра? Мы усыпили этого акселератора и еще одного усыпим, если потребуется, но, если так дальше пойдет, придется его и ее пристукнуть, нельзя столько агрессии впускать в этом мир, баланс слишком шаток. Красоты почти не осталось! Всё искусственное, всё ложь, всё пустота. Ты хоть почитываешь Льва Николаевича, как заведовал Гней Помпей?

— Ты? Ты что, и правда, хочешь свернуть ей шею, как какой-то курице? Это шеф так сказал?

— Он, — сказала Фрида, выпячивая вперед накрашенные губы.

— Перестань паясничать, сил нет на тебя смотреть, и очки сними, дура! — выругался Фауст и старушка поперхнулась лимонадом.

Фрида торжественно поднялась.

— Вытаскивай билет, я вижу звезду Ярика.

* * *

Девушка нервничала, и Фауст, прятавшийся за перегородкой — японской ширмой — это хорошо видел. У нее тряслись руки, она пережимала сумочку, и даже платок, которым она только что вытерла чистый фарфоровый лобик, весь мокрый, валялся на полу. Японцы, подумал Фауст, — жестокая нация. Художники и поэты разных мастей перетащили самые смутные образы, самые яркие тени и самое

бледные лучи из страны восходящего солнца, когда пресытились реализмом голландцев.

Фрида покровительственно похлопала ладонью по столу. Фауст отметил, как вульгарно на ней смотрятся фальшивые рубины. Хотя, зная Фриду, рубины могли быть и настоящими.

— Ну, садись, моя красавица, — сказала Фрида и улыбнулась. Фауст готов был поклясться, что во рту Фриды сверкнул золотой зуб.

Они заняли офис какого-то барыги-перекупщика и на скорую руку украсили его всем, что нашли в ломбарде. Чего тут только не было, даже золотая больничная утка.

— Вы точно экстрасенс? — выдавила Алена.

— Ты любишь русский рок, в 20 году у тебя умерла бабушка, а в прошлом месяце ты зарегистрировалась как ИП, — Фрида выдала информацию из соцсетей и ни разу не поперхнулась. Алена проглотила наживку и тоже ни разу не кашлянула.

— Довольно, — девушка упала на краешек стула и с теплотой посмотрела на Фриду. — Как мне вас называть?

— Не надо зря сотрясать воздух, мы, огнепоклонницы, служители эфира самого низшего ранга по небесной иерархии. Разумеется, здесь, на земле, мы первее всех царей и императоров, будь покойна.

— Покойна, —повторила девушка. Фауст боялся, что она вот-вот упадет со стула.

— Это всего лишь фигура речи, — примиряюще сказала Фрида.

Она похлопала девушку по руке, перевернула ладонь, как черепаху, и принялась что-то бормотать про бугор Юпитера.

— Стрелец в седьмом доме, да! — громко сказала она. — Вас часто мучают кошмары?

Девушка кивнула, обхватила щеки руками, страдальчески, по-бабьи, и посмотрела на японскую ширму.

Фауст смотрел в глазок, и ему казалось, что Алена смотрит ему в глаза.

Фрида водрузила руки на гадательный шар, и ее красные ногти эффектно бороздили его просторы. Они сияли, как маяки в темную, страшную ночь.

— Черный бык? — произнесла Фрида, точно совершив выстрел.

Фрида выпрямилась, в ее позвоночный столб загнали иглу.

— Как вы узнали? — спросила девушка, закрывая ладонями лоб, опасаясь, что Фрида просвечивает его невидимыми лучами.

— Догадалась, — усмехнулась Фрида. — Вот что, лапушка, сегодня ты познакомишься с мужчиной и расскажешь ему, что случилось шесть недель назад.

Алена подскочила, бросила зажатые в кулаке 500 рублей и выбежала за дверь.

— Чего стоишь, дурак, догоняй! Я уже почти всё за тебя сделала, — сказала Фрида, падая на стул. С ее верхней приподнятой маленькой губы, покрытой черными усиками, стекали крупные капли пота.

* * *

— Я убила, убила его, — рыдала Алена в объятиях Фауста. Он принюхивался к ее волосам и думал, как это странно, когда духи пахнут огурчиками (на самом деле яблоком и тмином), а волосы из-за шампуня — экзотическими плодами.

— Ну что ты, душенька, — сказал он. — Со всеми бывает, чего так убиваться? Он был негодяем и полез к тебе под юбку. Ты же совсем девчонка, ты не могла знать, что нож так глубоко уйдет под ребра. Я готов оплакивать твою поруганную молодость, — сказал Фауст, театрально сморкаясь.

Алена отстранилась и вытерла глаза. На ресницы налипла талая тушь, а помада изуродовала румянец. Всё кончено, подумал Фауст и поежился. Ветер здесь слишком холодный, ноги вымокли, а люди под низким небом казались ему глупыми. Фауст заскучал и поднял ворот.

— Идем ко мне, — предложила Алена.

— Мне нужно сделать звонок, — сказал Фауст. Он отошел на пару шагов, подмигнул Алене, как мог весело и задорно, чтобы и она не утратила запал.

— Алло, офис? Это авгур 356. Как далеко мне заходить? — мобильник был такой тонкий, что больше походил на пластину льда.

— Алло, авгур 356. Это оракул 466. Вам дан карт-бланш, делайте, что хотите, — игриво ответила Фрида.

— Это приказ? — спросил Фауст, чувствуя, как подступает зевота.

— Девушка всё равно умрет, — сказала Фрида.

— Но почему? — Фауст вскинул глаза на Алену.

Она стояла у подъезда в каком-то розовом, почти жемчужного внутрираковишного цвета пальто и нюхала сирень. Пышные цветы крошились, вырывались из своей пиримидальной сути и летели по весеннему легкому ветру. Алена игриво вздернула ножку, а ее волосы, завитые в тугие кольца, пружинили. У Фауста защемило, то ли сердце, то ли невралгия.

— Это всего лишь статистика, Фауст, это не мое решение, — мягко сказала Фрида. — Поднимись с девушкой, проведи с ней ночь и возвращайся, тебе придется убить быка.

— Это из-за меня? — спросил Фауст после долгого молчания. Алена смотрела теперь на него, она сорвала цветок сирени и заткнула его за ухо. — Из-за моих, — он сделал паузу, почувствовав на глазах пелену, которую мог бы идентифицировать как слезы. Он сморгнул. — Это мои протуберанцы, моя тень?

— Теперь это неважно, — сказала Фрида. — Поторопись, — и отключилась.

* * *

Бык тяжело хрипел. Замок лязгнул, и Фауст вошел в загон. Животное затравленно смотрело на него. Петля, тот аркан, который Фауст накинул, пережимал его шею, вислые кожные складки наползали на тоненький стальной шнурок. Фауст видел белки его глаз, зрачки уходили под лоб и всплывали обратно. Бык натужно хрипел,

копыта вздымались и тяжело опускались, он как будто карабкался по воздуху, и он всё еще был страшен.

Массивная черная фигура бросала на Фауста такую тень, что он терялся, он хотел потонуть и раствориться в этом болоте. В руке авгур сжимал резиновую дубинку, на ощупь она была неприятной, именно ей он должен был нанести удар, всего один, чтобы оглушить, а потом пустить ток — шокер отягощал карман, чтобы завершить дело. Нельзя, нельзя пробуждаться посреди фазы быстрого сна, можно ведь впасть в сонный паралич. Нож — широкий, не какой-нибудь детский, перочинный или складной, которым дети десятилетия назад играли во дворах, отсекая от круга часть земли. А еще, еще Фауст вспомнил, что когда-то вот так из шкуры одного быка нарезали ленты, чтобы обвести часть своей земли, мерзлой исландской земли, чтобы потом поставить там дом. Подъемный кран шумел, и металлический аркан задирал шею быка всё выше и выше. Хрип становился протяжней, и Фауст отбросил резиновую дубинку. Раздался треск, затрещал громкоговоритель.

— Фауст, не дури!

Фауст вытащил нож, лезвие было широким и ровным. Бык заревел и попятился, он откуда-то из глубины своей животной души, в которую не верил ни один конфессиональный труд, знал, что этот металлический отрез несет смерть.

— Фауст, — предупредила Фрида. — Он живой, ему будет больно, ты же видишь, как ему страшно.

Фауст поднял руку и черканул вниз, красная струя ударила ему в грудь и лицо. Он стоял под этим теплым дождем и не закрывал глаз. Кто-то подтащил таз, и кровь, булькая и пенясь, наполнила его до краев. Фауст упал на колено и прошептал:

— Фрида, ты слышишь? Говорит оракул 356.

— Слышу, — ответила Фрида.

— Выходи за меня замуж, — сказал Фауст и нажал кнопку подъемника. Туша тяжело рухнула на земляной пол.

* * *

Закряхтело радио внутренней связи: желтая кормушка с маленькими отверстиями, откуда высовывался невидимый проповедник:

«Народ франков! Вы пришли из-за Альп, вы избраны Богом и возлюблены им, что показано многими вашими свершениями. Вы выделяетесь из всех других народов по положению земель своих и по вере католической, а также по почитанию святой церкви; к вам обращается речь моя!»

Фрида приволокла стул из-за ближайшей парты и встала возле окна. Окно было глухим, а на шторе были нарисованы горы и подступающие к ним джунгли. Фауст смотрел на розы щек Фриды и на выбившуюся прядь. Он, как и другие оракулы, предпочитал сидеть на задах.

«Мы хотим, чтобы вы ведали, какая печальная причина привела нас в ваши края, кхкрхыыы..... От пределов иерусалимских и из града Константинополя пришло к нам важное известие..... народ, упорный и мятежный, неустроенный сердцем..... вторгся в земли этих... опустошил их мечом, грабежами, огнем....»

Радио смолкло, и возникла тишина, которая бывает, когда все чего-то ждут, а оно всё никак не наступает.

— Соберитесь, товарищи, — сказала Фрида и постучала указкой по доске.

— О, Зевес, моя девочка, — благоговейно сказал оракул Ингвар, повернулся к Фаусту и так широко улыбнулся, что оракулу Фаусту захотелось ему дать в бубен.

— После ликвидации Черного быка, — сказала Фрида, — аномалий мы не обнаружили. Однако аналитики забеспокоились...

— А где Гней? — спросил Фауст.

— Оракул 356, не выкрикивайте с места. У вас нет таких полномочий, чтобы перебивать старшего. Но раз вы новичок, я, так и быть, отвечу вам. Гней Помпей в творческом отпуске.

— Это как? Как это? — со всех сторон посыпались вопросы. Оракулы вытянули лица и придвинулись вперед.

— А вот так, — ответила Фрида. — Это уже не в первый раз. Просто я не освещала. Говорят, что у людей весеннее обострение тоже случается. Голыми начинают расхаживать. Не в этом дело. Дело в том, что аналитики заметили аномалию другого рода. Мерцающий рост. Растет не какое-то одно сновидение, а группа сновидений, и в этой группе они растут попеременно. Локализуется это безобразие в одной точке. Аналитики назвали возбудителя этой мутации спайдер. Какой-то человек явно вносит эту светомузыку. Но зарегистрировать мы его не можем. Очевидно, нашего спайдера мучает бессонница, и мы бессильны.

Фрида поправила очки и перекинула толстую косу на спину.

— Задача такая: отследить контакты мерцающих и выявить совпадения. Всем понятно? А тебе, оракул 365, задача предстоит особая.

— Да? И какая же? — с недоверием в голосе спросил Фауст.

— Посчитать убойную массу, — вкрадчиво ответила Фрида.

* * *

Лестница была спиральной. Она напоминала шест, на который намотали серый, грязный тюль. Ступени были скользкими, а когда Фауст шагал, слышал, будто за ним кто-то крадется и чей-то шепот. Пятки прилипали и отрывались с чавкающим звуком. В сплетениях мрамора Фауст видел морды, и эти морды усмехались.

— Ну, здравствуй, Бафомет, — кивнул Фауст, хотя точно не знал, так ли зовут этого демона. Но то, что это был демон, он был вполне уверен. Он подумал: «Почему именно козлиная рожа: рога, уши, глаза и копыта — вызывают у людей страх? Почему те, кто служит пищей и одеждой, стали олицетворением порока и гибели?

Фауст вытащил факел и осветил дорогу. Лестница к финалу стала еще грязнее, и к этой грязи присоединилась кровь. Фауст услышал мерный свистящий звук: как будто кому-то в полной тишине отрубали голову. Ни один человек в здравом уме не пошел бы на этот зов, но Фауст был не из таких.

— Эрих, — окликнул он.

На освещенной площадке стоял гигантский дубовый стол. На столе — туша в красно-белых сплетениях мышц. Щуплый мясник

замахивался алебардой и разрубал тушу пополам, потом еще пополам. И когда уже части напоминали головоломку, переставал дробить. На стенах по всему периметру висели картины освежеванных животных, вид и породу которых было не так просто отгадать. Фауст поднял факел повыше и прочитал: «Схема разделки». Окорок, рулька, карбонат, ножка, филей, вырезка, пашина. По правую руку от мясника стояла телега с тушами, обложенными пакетами со льдом. Слева дышали паром две морозильные камеры, блестели рельсы, по которым, очевидно, и увозили этот груз в цех. Фауст встал на гигантские весы и посмотрел на гирьки, вполовину него ростом.

— Я не буду тебя взвешивать, суеверен, — сказал Эрих, вытирая рукой лоб, отчего сразу стал похож на болельщика Спартака. — Тут всякого насмотришься. Бывает, реализуешь скотину, которая умерла своей смертью. А это очень опасно. Кто знает, отчего она двинула копыта? Никто не знает и никто проверять не будет.

— И что, люди так и едят мертвечину? — спросил Фауст, спрыгивая на пол. Он мерил шагами площадку, шаркая по плиткам и воображая, что он танцует чечетку. Квадратики были все в трещинах, как будто их привезли из полуразрушенного Дома Культуры.

— Они же об этом не знают, и только так высасывают костный мозг, — Эрих рубанул с плеча. Он был одет в просторный комбинезон, и, если бы не пятна крови, Фауст решил бы, что он обычный сантехник.

— А что скажете насчет того, что страх животных портит вкус? — Фауст заметил в центре площадки слив, куда стекала кровь. Один из треугольников, уходящих вниз и формирующих воронку, имел кольцо. Фауст хотел дернуть, но Эрих издал предупреждающих звук:

— Хочешь на зуб к старым богам? Сейчас всякие добавки в мясо пихают: аскорбиновую кислоту, лецитин, агар-агар, и жрать уже можно.

Фауст подошел к рабочему шкафчику, серому и длинному, тоже с дырочками. Как будто там кто-то сидел, и этому кому-то нужно было дышать. Фауст вытащил халат. Он был грязный, пользованный. Он обернулся к Эриху:

— А что скажешь за идею, ведь эти сновидения…

— Э, нет, братец, — Эрих остановил его поднятым кверху красным пальцем. — Я работаю с мясом, может, оно когда-то и было сновидением, не мое это дело. Вот смотри: кровь и плоть. Жилы какие, а? Хочешь, покажу тебе языковую мышцу — самая мощная в организме. Говорят, что сердце, но врут, всё-таки язык. M. hyoglossus — никому не перебить, так и запомни. И не торчи здесь долго, тебе же в цех?

Он протянул Фаусту руку и потряс. Рука Фауста стала кроваво-красная. Перед тем, как сесть на дрезину, Фауст встал у еще одного стенда, текст на котором уже почти нельзя было различить:

— Прижизненные факторы: вид, порода, пол, возраст, характер откорма, состояние здоровья, условия транспортировки и предубойная выдержка.

— Послеубойные факторы: посмертное окоченение, созревание, глубокий автолиз, гнилостное разложение, гидролиз и окислительная порча жира, плесневение, изменение цвета, запаха и другие процессы.

— Эрих, как называется ваша должность в нашей структуре? — спросил Фауст.

— Самая древняя профессия: мясник.

Эрих подошел к телеге и взвалил на плечи еще одну тушу.

— Вы не знаете, почему Фрида замещает аполлона?

Эрих погладил мягкое парное мясо двумя пальцами, намечая места для удара.

— Она лично нажимает на кнопку, чем вызывает ликвидацию объекта. Таким занимаются только власть имущие. Власть не имущие свежуют мясо, убирают дерьмо и ноют, какая убогая у них жизнь. И ничего не меняют. Впрочем, иногда так бывает, что пытаются изменить и умирают в попытках произвести перемену. Впрочем, постой. Ты же знаешь про французских философов, которые несли свет просвещения, с ними еще до критических пределов заигрывали венценосцы вроде Северной Семирамиды? Дидро, Вольтер, Руссо? Эти философы переменили мышление и вызвали революцию. И нам, мясникам, опять было чем заняться. На́ вот, почитай на досуге, — мясник бросил Фаусту затертый буклет, который полетел, как курица,

расправив ломкие крылья. На бумаге отпечатались ярко-красные пятна, как будто след оставило диковинное животное.

Фауст с хрустом развернул глянец и прочитал: *«Мясо является существенным источником незаменимых аминокислот, жиров, минеральных и экстрактивных веществ, которые представлены в оптимальном количественном и качественном соотношении и легко усваиваются организмом».*

Фауст влез на дрезину и качнул рычаг. Направление можно было не спрашивать, указатели объясняли доходчиво. Чем ближе он подъезжал к цехам, тем более разнообразные звуки он слышал.

* * *

Посреди бушующего мартовского мрака отель сверкал, как тиара принцессы Дианы. Он был одновременно маяком и кораблем с огнями Святого Эльма, который идет прямо на грозу. «Королевский олень» — прочитал Фауст. На входе Фрида махнула ксивой, и швейцарцы не стали цепляться. По красному ковру они зашли в лифт, фактурный и золотой, как пчелиные соты, и там тоже всё обошлось без вопросов.

Ингвар сказал:

— Он просто зарубил ее топором, представляете? Мы как будто в 145 км от Москвы или в Российской империи. Куда катится этот мир?

— Обычно закатывают глаза, банки, истерики и скандалы. А уж, если что-то закатывается, то непременно под кровать, ну! — сказала Аквитанская и поправила желтую челку. Волосы были обрезаны по прямой линии и занимали ровно 20% лба.

— Зря мы тебя на курсы повышения квалификации отправляли, Эля, — сказала Фрида. — Тебе не пошло на пользу.

— Так это одна из мерцающих? Они все богемные, верно? — спросил Фауст. Фрида вместо ответа фыркнула. Аквитанская взъерошила ему волосы и сказала:

— Слушай, ну ты хоть иногда читай рассылку, ну! Вот Раскольников страдал, что зарубил старушку. Достоевский так причудливо описывал этот танец духа, что совершенно сместил фокус с того, что старушка и впрямь была дрянь. Пока он каялся, другие

такие старушки продолжали свой черный бизнес. Когда Федор Михайлович вписал в преступление Лизавету да еще и с ребенком, он как будто нарушил чистоту эксперимента, не находите? По всему выходит, что старушек бить нужно.

— Так она богемная, да? — снова спросил Фауст, запрашивая у техников пароль от почты.

— О, Зевс, всемогущий бог и спаситель! Лаврентьева Ирина Дмитриевна, преподавательница гончарного дела, ведет богемный образ жизни, — раздраженно ответил Ингвар и поднялся на цыпочки, чтобы сравнятся ростом с Фаустом. Кроме белых зубов, ничего выдающегося у него, на взгляд Фауста, не было.

Фрида вышла из лифта первой. Коридорные мальчики бросали на делегацию оракулов косые взгляды, но ничего не говорили. Фрида постучалась в номер, дверь открыли полицейские. Она увидела труп под светом софитов и уже хотела было шагнуть, но ей преградили путь.

Фрида дернула кожаную куртку, вскинула очки на макушку и выплюнула жвачку с характерным харкающим звуком.

— Особый отдел? — спросил полицейский.

Фрида припечатала ему на грудь ордер и вошла в комнату. Полицейский изучал бумагу, и на его лице читалось недоумение. Как будто печать и подпись соответствовали, а все остальное было на китайском.

— Третье отделение? — пошутил второй полицейский.

— Нет, 666, — ответил Фауст.

Фрида выставила руку, как лопасть вертушки, и пропустила Фауста, Ингвара и Аквитанскую.

— На выход, — приказала она полицейским, и оракулам строже: — Ничего не трогать!

— Нет ничего прекрасней мертвой девушки, — процитировал Фауст Эдгара Аллана По.

Девушка лежала на кроваво-красных простынях. Волосы свешивалась вниз, а голова держалась на лоскутке кожи. Рядом стоял

открытый ноутбук, экран был черный. Тело было разрублено на части. Аккуратно, с точностью до миллиметра, по законам золотого сечения. Фрида потыкала пальцем тачпад.

— Некрофильствуй в другом месте, Фауст, и желательно, как-нибудь пооригинальнее. И найдите мне зарядку.

Фауст поднял стопку одежды с тумбочки. Ингвар сунулся в ящик с нижним бельем, и только Фрида догадалась залезть под кровать и вытащила черную змею с вилкой.

Аквитанская прошла вдоль стены. На постерах красовался Ченнинг Татум в образе римского легионера и Колин Фаррелл в роли Александра Македонского. Фрида подключила шнур, ввела в поле кода цифру один, и компьютер издал плюмкающий звук. Фрида дотронулась до бруска пробела. Появилось изображение, и с задержкой пошел звук:

— Оружием нового поколения стали катапульты торсионного действия — стрелометы. Стрелы, выпущенные из таких орудий, пробивали щиты и доспехи врагов на расстоянии в четверть мили. За 20 лет Филипп захватил Афины, Фивы и стал неоспоримым хозяином всей Греции. Но на пике славы его убили. Царь во многом определил триумф своего сына.

Фрида подошла к постаменту в центре комнаты, сбросила ткань. Там стоял бюст Александра Македонского с отбитым носом.

— Господа, мы нашли спайдера, — сказала Фрида.

— Вот почему мы его не можем засечь, аполлоны не видит сновидений, ну! — сказала Аквитанская.

Оракулы быстро покинули здание отеля. В коридорах и лифте они молчали. Когда они вышли на улицу, стемнело еще больше. Небо придавливало, пора было возвращаться в дельфийскую пещеру. Было отчаянно холодно, но они не спешили брать такси. Фрида дышала открытым ртом, и изо рта вылетали бублики пара. Оракулы встали кругом, как будто их сгруппировала коллективная потребность поговорить.

— А что бывает, когда аполлон оказывается головорезом? — спросил Фауст.

— О, Зевес! Нас могут раскрыть, — сказал Ингвар. — Надо запросить помощь у старых божков.

Элеонора цокала зубами и пристукивала каблучком. Губы ее стали синими: Аквитанская замерзала.

— Ты их вообще видел? Они принять тебя примут, будут подначивать, а потом в лес или погреб затолкают. Если выберешься, молодец, а если нет — голова с плеч. Ответов не получишь, а вот синяков — сколько угодно.

— Почему не спросить Зевса? — спросил Фауст.

Ингвар мрачно посмотрел на новобранца.

— О, Зевес! Просить бога, способом коммуникации которого является гром и молния, никак не хочется.

— Говорят, если молиться по тридцать раз на дню, Зевс приходит золотым дождем, но только к женскому полу, ну! — Аквитанская тронула челку, и Фаусту показалось, что она звякнула. Приглядевшись, он увидел бусины в прядях.

— Фрида, что будем делать? — спросил Фауст.

Фрида подняла один из столбиков красной дорожки и замахнулась на Фауста.

— Не спрашивай, понял? — сказала она.

— Ты такая безумная!

Фрида улыбнулась и врезала Фаусту. Фауст отступил, поскользнулся и полетел на покрытый льдом асфальт. Ингвар загородил Фриду от Фауста. Аквитанская полезла к Фаусту с платком. Фауст оттолкнул руку Элеоноры, по его лицу свободно текла кровь. Фауст поднялся, согнулся и увидел перед глазами лакированные ботинки полицейских.

— Ну отдел 666 дает, — сказал один из них.

* * *

— Что сегодня по ящику? — спросил Ингвар. Они шли в толпе других оракулов в Колизей.

Аквитанская заглянула за плечо идущего впереди оракула.

— Спартанцы! Скука! Ну! — ответила Элеонора.

— Ты вот давеча про Августина Блаженного тоже говорила. А потом хихикала и краснела. Спартанцы тебе тоже понравятся, они не практиковали воздержание, — ответил Ингвар. — Главной целью спартанского общества было рождение потомства. Этим пользовались подростки с высоким уровнем гормонов, но спартанцы быстро превращались в мужчин. Когда спартанцы завоевали всё, что было можно, они как культура погибли. Кроме войны и детей, они больше ничего не производили.

— Да что ты, — зевнул Фауст.

— Фауст, на пару слов, — сказала Фрида, разбивая треугольник.

— Фрида, поцелуй, — попросил Ингвар и подставил щеку. Фрида быстро чмокнула оракула и потащила Фауста за собой. Фауст обернулся. Похоже, Ингвара не особо беспокоило, что у Фриды какие-то секретные дела с Фаустом.

— Снова будешь драться? — спросил Фауст.

— Поднимемся в будку, — велела Фрида.

— Может, позовешь своего жениха?

Фрида обернулась.

— Идем, Фауст!

Фауст и Фрида свернули направо к маленькой черной лестнице. Они поднимались по узким ступеням, на стенах висели плакаты черно-белых кинофильмов. Маленькие лампочки освещали дорогу. Фауст подмигнул Кирку Дугласу в набедренной повязке. Фрида провозилась со связкой ключей и открыла дверь. Они зашли в аппаратную. Было темно, и они услышали стрекот киноленты. В кресле сидел механик и не двигался.

— Тоже труп? — спросил Фауст.

Фрида развернула кресло. Перед Фаустом сидел мужчина, половина головы была размозжена топором. Он моргал, двигался и

даже пытался улыбнуться. Из того места, где должен был быть мозг, лезла стекловата.

— Привет, Фауст, да-а-а-авно-о-о-о-у-у-у-у, — сказал он.

— Аполлон его приложил и съехал с катушек, — сказала Фрида. — Это робот.

Фауст провел рукой по виску и почесал царапину.

— Когда ты меня стукнула, ты…

— Да, Фауст, — ответила Фрида и сунула в карманы кулаки.

— А кто еще роботы?

— Ингвар, — сказала Фрида.

— Ты тоже избила его? — пошутил Фауст.

— Как можно, — ответила Фрида. — Мы же с ним помолвлены.

Она помолчала.

— С Ингваром проще, мы спим вместе. А как быть с остальными? Я же не могу бить каждого битой или со всеми спать. Идем со мной на технический этаж. Техники управляют пещерой дельфийского бога, это они запускают все программы. Надо выяснить, что тут вообще происходит.

Оракулы закрыли дверь аппаратной и зашагали рядом. Они шли так близко, что Фаусту захотелось дотронуться до Фриды. Но как только он прикоснулся к ее холодной, чуть влажной руке, Фрида руку отдернула и сказала:

— Только посмей!

Фрида ткнула костяшками кнопки лифта. Фауст рассматривал палец девушки, обтянутый железным, на пол фаланги кольцом. Соседями были кольца с драгоценными камнями размером с кофейную чашку. Фауст где-то читал, что женщина, которая носит такие булыжники на руках, тяготеет к власти. Что-то всё-таки есть в этих дешевых журнальчиках, подумал он. Какая-то квинтэссенция жизни, что, впрочем, много говорит об этой самой жизни.

Они вышли на минус первом этаже и оказались в небольшом холле перед железной дверью с надписью: «Технический отдел». Фауст знал, что техники почти не выбирались на поверхность и были, скорее, фейри в холмах, нежели людьми. Такая за ними закрепилась слава. Авгуры, оракулы, аналитики, мясники и техники вообще держались кланами.

Фрида сняла с пояса связку ключей. Она была похожа на ключницу в старом барском доме. Общая полнота, округлость лица и лодыжек вообще располагала к такой интерпретации. Фрида толкнула дверь и предложила Фаусту войти первым. Фауст ступил на серый мягкий линолеум и увидел два ряда столов и стульев. Техники что-то бормотали в микрофоны, пальцы беззвучно порхали над клавишами, как стайка бабочек. Этаж напоминал парник: ни окон, ни дверей. Воздух пах сосновым лесом из аэрозоля. Фрида коснулась его плеча и показала на правый ряд. От техников, что сидели рядом с дверью, остались рожки да ножки: винтики и шурупы. Кто-то изрядно их поколотил, выбил весь их код. Орудием преступления был топор.

— И здесь повеселился, — сказала Фрида.

— Надо понимать так, что он сам не знал, что они роботы.

— Или ему надоело притворяться, что они живые люди, — возразила Фрида.

Фауст прошелся между рядами и заметил, что аполлон разбил голову каждому технику с левой стороны. Одна половина лица действовала, а вторая превратилась в кашу.

— Это послание приемнику, — сказала Фрида и вытащила из кармана лэптоп. — Наш аполлон — программист. Он сам их кодировал. Позывной его в бытность оракулом — граф де Рэ, Жиль де Рэ, знаешь, кто такой? Средневековый вурдалак, во всяком случае, слава о нем такая ходила, что жрал девиц и младенцев. На него дело завели, обнаружили в застенках скелетики, ну и понятно, отжали деньги и власть. Теперь, когда он и его соперники истлели, осталась только дурная слава. На самом деле нашего аполлона, нашего Гнея Помпея, обликом точь-в-точь Македонский, нашего Жиля де Рэ зовут Игорь Жилов.

— Гней оставил какие-то инструкции? — спросил Фауст. Он впервые понял, что махина, которая управлялась какими-то

железными законами, вдруг потеряла опору. От этой мысли — от этой свободы — Фаусту стало страшно.

— Есть дневник Жиля де Рэ, он там пишет в духе Николая Второго. Позавтракал, сходил в спортзал, заглянул к милой Матильде, какая же манкая эта Ксешинская, но тут и всё. Непонятно, кто вообще затеял эту возню со сновидениями. Про старых божков ты уже слышал. Они управляли людьми до того, как Перуна — золотые усы, седая голова — прокатили под хвостом кобылы. Старые божки растворены в мазуте, и мы их подкармливаем кровью, чтобы корни не пересохли, понимаешь? Более-менее функционируют славянские, помесь, гибриды, инициированные в 19 веке. Их сила зиждится на славянском фэнтези и на бабушкиных печках и пирогах. Можно до них долететь на птице, скормив часть бедра, но ничего разумного они не скажут. Наведут морок, создадут потемкинскую избушку, попытаются тебя в печи сжечь, если не получится, дадут клубок, который приведет к деньгам и жене. И даже не спросят: нужно ли тебе оно.

— Ингвар всё время говорит про Зевса. Кто он?

Фрида погладила по голове робота, тот повернулся и ощерился половиной улыбки. Фауст с Фридой поежились: от челюсти, в которой стояли все зубы, но которая управлялась чипом, веяло техногенной жутью.

— Вполне, возможно, Фауст, что никого нет. Впрочем, есть одна зацепка. Жиль дэ Рэ всё время пишет о каком-то голосе. Но если и есть какой-то голос, то это тот, что генерируют техники. Тот, что мы слушаем по утрам на оперативках. Другого голоса, Фауст я никогда не слышала.

Пискнуло уведомление.

— Идем, — сказала Фрида. — Оракулы нашли аполлона.

* * *

По дороге в Москву Фрида жалась к Ингвару. Они сидели, переплетая пальцы. Аквитанская втирала Фаусту о страданиях государственных мужей. Она говорила, что есть годные к управлению люди, которые знают, как делать, но им никто не позволяет и пальцем пошевелить. Если ты неуполномочен, хоть кол на голове теши, люди до руля не допустят. Хотя мужи эти толковые и прогрессивные и весь

список того, что требует то время, в котором они живут. Но их оттесняют от власти чуваки, которые менее всего подходят на эту роль. Эти люди у власти держатся законодательным образом, даже если этот закон вилами по воде писан. Скажем, драма Годунова. Мудрый правительственный муж понимал, что он как царь более подходящая фигура. И он рубил в менеджменте: мосты с англосаксами наводил и ванек на учебы отправлял. И многое сделал, чтобы водрузить себя на то место, которое, как ему казалось, причитается ему по праву. Сестру женил на слабоумном сыне царя, а мальчика — Димочку Углицкого — прикопал. А что толку — храбрости отстоять власть на поле боя ему не хватило, но это пол беды. Народ, тот, что безмолвствовал, на самом деле молча благословил оскопление сына Годунова и изнасилование его дочери Ксении. Годунову просто повезло помереть своей смертью незадолго до расправы. Вот так и ходи против ветра. Против ветра — ходить нельзя, ну! — сказала Аквитанская.

— Твоя тезоименитая опровергает все твои слова, — сказал Фауст. — Элеонора Аквитанская взяла власть и правила через мужей и сыновей, пока злобы духа доставало.

— Замок Понтефракт съел мужскую линию Плантагенетов, начался смертный бой Алой и Белой Розы, и к власти пришли Тюдоры, ну! — возразила Элеонора.

— Мне всё-таки ближе идея исландцев, — ответил Фауст. — Они соскребали со лба печать судьбы и делали то, что хотели, даже если знали, что им за это прилетит. В конце концов, нас всех ждет одно и то же — смерть. Мы приговорены рождением.

Он вдруг посмотрел на Элеонору и замолчал.

— В смерти ничего такого нет. — сказала Элеонора. — Она ничто. Она антиболь, антистрасть, антистрадание, антивсё. Именно поэтому мы так спокойно отключаем людей, которые мутят воду, желая изменить ход событий. Ну!

Фрида нагнулась к ним и грозно прохрипела:

— Люди одержимы желаниями. Взять, схватить, поглотить, а потом страдать оттого, что нахапали. Только встав на позицию наблюдателя, отключив себя от процесса, мы можем смотреть на объект, восхищаться им и не вожделеть его. Вот в чем цель оракула.

Фрида отодвинулась от Ингвара и опустила на глаза черные очки.

Из пещеры дельфийского бога нельзя было попасть в город иначе, как на электричке. Оракулы воспользовались подземкой и быстро оказались на станции метро Театральная. Они вышли в весенний день и услышали голоса уличных музыкантов, вороний грай и звон трамвая. К Фриде подошел молодой человек, еще совсем подросток, но с хорошо подвешенным языком. Он постучал ручкой по папке.

— Вы хорошо выглядите. Расскажите, как вам удается сохранить молодость? Давайте заполним анкету.

— А я вам говорила, сколько мне лет? — спросила Фрида.

Молодого человека сдуло. Ингвар рассмеялся и сверился с картой. Оракулы потыкались в разных направлениях, но стрелочка всплывала, как поплавок, и было непонятно, куда идти. В сторону МХАТа или в обратную. Фауст довел их до развилки, они повернули к Тверской, вдоль которой выставили летние столики. Москвичи оживленно переговаривались, смеялись, поднимали головы к солнцу. Девушки были нарядные, юноши забавно одетые. Карнавал весны кружил голову.

— Фауст, нужно было поворачивать направо. Мы сейчас опоздаем.

Наконец Аквитанская отыскала затерянную тропинку и привела оракулов в кинотеатр, который находился в здании торгового центра. Тиамат, — прочитала девушка вывеску.

— Не та ли это злобная богиня, которую разрубил Мардук? А потом из верхней части тела сделал небо, из нижней — землю? — спросил Ингвар.

— Похоже, владельцы хотят прогореть. Надеюсь, не буквально, ну, — ответила Аквитанская.

Большинство павильонов пустовало. На втором этаже обнаружился молодой человек, который сидел в нише, вяло жевал бутерброд и гонял на телефоне игру.

— Стойте, молодые люди! Куда без билетов? Кроликам, знаете, где место?

Ингвар заморочился с билетами. Он побежал, а потом по инерции заскользил по начищенному полу.

— Быстрее! — грозно сказала ему в спину Фрида.

— Мчись во весь опор, беги со всех ног, ну, — хохотала Аквитанская.

В темный зал Фауст шагнул первым и запутался в шторах. Фрида наступала ему на пятки, и он шипел. Оракулы заняли первые места и оказались прижаты к сцене. На сцене ходил мужик с плакатом: «Статистика». Встречным курсом шел второй мужик с плакатом: «Хроника».

Мужик с головой быка выбирал среди афинских девушек и юношей каждую десятую. Статистика кричала: «Децимация», — а, когда каждый десятый падал, сраженный невидимой пулей, хлопала в ладоши.

Фауст пожал руку Фриде, но оказалась, что руку Фриды держит Ингвар. Фрида подняла брови, а Ингвар сверкнул белыми зубами.

Хроника ходила и бубнила в рупор: «Убито, ранено, взято в плен. Убито, ранено, взято в плен, пропало без вести. Семенов Илья Ильич, 22 года, студент авиационного института. Братская могила. Безымянный солдат. Чужбина. Родина. Огонь. Цветок».

Из шеренги юношей выступил высокий и красивый герой.

— Тезей, ну, — шепнула Элеонора Фаусту, справа кто-то покашлял, а кто-то другой сзади зашуршал оберткой.

Тезей выступил вперед и сказал: «Мы никого тебе не отдадим!»

Статистика задрожала всем своим картонным телом. Она бросилась вперед и потянулась руками к шее героя:

— Аполлон, — шепнули одновременно Фрида, Ингвар и Аквитанская. Этот шепот вышел громким. Фауст присмотрелся. На сцене и впрямь стоял Гней Помпей. Это был он — Александр Македонский с отбитым носом.

— И как там советовал Лев Николаевич поступать в таких случаях? — спросил Фауст.

— Брать пушку и стрелять в упор, ну, — ответила Элеонора. — Если героя любят, ему попадают ядром в брюшину, герой осознает бренность своего пути: тягу к воинской славе, тягу к государственной деятельности, любовь к отцу, сестре, сыну и красивой девушке. Если героя не любят, ему отрывают ядром жирную красивую ляжку и оставляют мыкаться на грешной земле.

Статистика обернулась на оракулов. Гней нащупал горло Тезея и стал его еще сильнее стискивать. Только актеры и оракулы понимали, что Статистика и в самом деле решила прикончить героя. Но молодой человек оказался крепким, а стоящих вокруг него людей слишком много. Зазвучала бравурная музыка. Актеры — афинские девушки и юноши — накинулись на Статистику и как следует попинали ее. Зрители взревели от восторга. Царь Эгей в упоении обнимал Тезея, черный флаг сменился на белый, и занавес упал. Оракулы поспешили на сцену и успели, как раз вовремя, чтобы оттащить актеров. Аполлон всё тянул свои руки и полузадушенно кряхтел: «Я смогу, я смогу!»

— Это наш клиент! — объявила Фрида и приказала Аквитанской с Ингваром паковать аполлона.

Тезей яростно растирал грудь и шею. Он говорил, что нога Статистики больше не ступит на его сцену. Но ради искусства он все готов простить и выдаст Статистику только после того, как она сходит с ними поклониться публике. Аполлон шатался, но на поклон вышел. Люди кричали «Браво» и «Бис».

* * *

Аполлон кружился в кресле стеклянного кабинета. Светлые патлы падали на кровавый лоб. Фауст основательно привязал его к спинке. Фрида попросила выйти всех, кроме Фауста.

— Вот те на, — сказал Ингвар и ощерил белые зубы.

— Облом, накося-выкуси, ну! — ответила Аквитанская.

Ингвар и Элеонора вышли и вместе с другими оракулами стали смотреть на экран пещеры. Фрида села на стул для посетителей. Она перекинула косу вперед и сняла черные очки.

— Что вы со мной сделаете? — аполлон поднял свою кровавопатлатую голову.

— Сначала ты, — сказала Фрида. — Кто такой Зевс? Кто такой голос?

— Кто такой Зевс, я не знаю, — сказал аполлон. — Что касается голоса…. Открой ящик, вытащи кассету и сунь вон в тот магнитофон с оранжевой крышкой.

— Фауст, — сказала Фрида и тоже стала крутиться на кресле в такт Гнею Помпею.

Фауст вырвал ящик из письменного стола, на него покатились ручки и карандаши. Он взял кассету, которая выпустила ленту, как рыба кишки. Фауст подкрутил кассету ручкой. Фауст нажал клавишу, и крышка магнитофона отъехала. Техника проглотила кассету. Фауст нажал еще одну кнопку и зачем-то покрутил круглую ручку на магнитофоне. Стрелки качнулись в поисках частоты, и радио зашипело.

— Займите удобное положение и закройте глаза, — раздался голос из динамиков. — Расслабьте ноги, руки и остановите поток мыслей. Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Представьте место, в котором вам будет хорошо…

Фрида щелкнула и выключила магнитофон.

Аполлон с закрытыми глазами продолжил:

— Представьте место, в котором вам будет хорошо, и это место — пещера дельфийского бога

— Самовнушение! — сказал Фауст.

— Чего же ты взялся за топор? — спросила Фрида.

— Мне нужно было вспомнить, что люди — состоят из плоти и крови. Что я этими руками и этими, — он показал на руки Фриды. — Убиваю их. Когда ты сидишь в пещере, ты утрачиваешь связь с реальностью, а когда то, что ты делаешь, кажется тебе игрой, подступает небытие, где неразличимо вообще нечего. А это так важно, чтобы ракурс был четкий. Важно делать то, что мы делаем, Фрида. Ты, Фрида, убивала людей, потому что тебе приказывал я и Зевс. Теперь, когда ты всё знаешь, знаешь, что за тобой никого нет, что приказы никем не утверждены, не легитимны, что ты будешь делать?

— Мы больше не будем никого убивать, а сновидения выпустим, и всё, — ответил Фауст.

— Экий ты прыткий, — улыбнулся аполлон. — Так уже не раз делали. Знаешь, что произошло? Черные быки растоптали всё то хорошее, что людям снится. Всё то радужное и счастливое, что заставляет их жить. Мрачное было времечко. Суровое. Чтобы создать систему в таком виде, в каком ты ее нашел и хочешь разрушить, пришлось потратить много сил, жизней и крови. Ты хоть представляешь, чего стоила модернизация сонника Мартына Задеки? Твое решение можете откатить все до стадии старых божков.

— Люди изменились, аполлон, — сказал Фауст. — Ты это сам видел. — Мы выйдем к ним и станем работать с ними, и сновидения больше не придется превращать в фарш. Мы больше не станем кормить старых божков.

— Ничего такого я не видел. Люди просто забыли, что такое жить плохо, за эти годы, когда мы устраивали децимацию, они привыкли, что одним умрет, а девять остальных будут жить. А ты что скажешь, Фрида, моя дорогая портупея?

— Фауст наивен, а ты спятил, — ответила Фрида и поправила оправу. — Есть правила, есть инструкция, мы будем делать всё, как раньше.

— Когда Мухамед Второй брал Константинополь, византийцы готовились к обороне и молились о легкой смерти, и только в одинокой келье старый летописец продолжал писать хронику. Так что вы со мной сделаете?

— Поставлю мясником, — ответила Фрида. Аполлон слизал кровь с губ:

— Нам кажется, что, если мы будем верны своему пути, мы автоматически получим всё остальное или ничего не потеряем, но такого не будет. Нужно присягнуть, расписаться кровью, только так это работает.

Аполлон вскочил с места, отбросил веревки и быстрым движением вытолкал Фауста. Фауст полетел на пол и замер, как бегун на низком старте. Помпей запер дверь, схватил Фриду за горло. В лезвии ножа отразилась лампа. Гней Помпей замахнулся и опустил руку. Острие разрезало кожаную куртку Фриды, пробило грудную

клетку Фриды и вонзилось в сердечную сумку Фриды. Аполлон вытащил нож, и Фрида согнулась. Гней Помпей чиркнул ножом по горлу. На шее Фриды заискрил оптоволоконный кабель. Фауст сначала бил по тонированному стеклу, а когда Фрида упала, стал это стекло гладить. Оракулы окружили кабинет. Гней Помпей что-то сказал, но ни Фауст, никто ничего не услышал. Аполлон включил магнитофон, провел ножом по рукам, упал в кресло и развернулся к оракулам. Пол усеяла кровавая роса. Громкоговоритель закряхтел и раздался голос:

«Иерусалим — это пуп земли, край, самый плодоносный по сравнению с другими, земля эта словно второй рай. ….И этот царственный град, расположенный посредине земли, ныне находится в полоне у ..врагов и используется народами…… для языческих обрядов... стремится к освобождению и жаждет освобождения, беспрестанно молит о том, чтобы вы пришли ему на выручку... ждет помощи от вас, ибо, как мы уже сказали, пред прочими сущими народами вы удостоены… замечательной силой оружия. Вступайте же на эту стезю во искупление…., будучи преисполнены уверенностью в незапятнанной славе Царствия…..»

Конец

Контакты:
Прием рукописей: nate.lit@mail.ru
Сотрудничество: nate.lit.collab@mail.ru
Сайт: https://natelit.ru/
Мы в социальных сетях:
https://t.me/NATE_lit
Boosty: https://boosty.to/glavvred
Поддержать проект: https://pay.cloudtips.ru/p/39896291